



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК **ВОЛГА** 7-8 2017

Литературно-художественный журнал

РАБОТЫ ХУДОЖНИЦЫ НАТАЛЬИ ШИНДИНОЙ



«Весна. Берёзы»



«Сибирский пейзаж»



«Село Натальино. Утро»



XXI ВЕК

ВОЛГА

7-8 2017

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей
Н.В. Шаталина – член Союза журналистов России (Саратов)

7-8
2017

СОДЕРЖАНИЕ

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС

Наталья МЕДВЕДЕВА. **Жизнь** 3

МОЛОДАЯ ПРОЗА РОССИИ

Андрей ТИМОФЕЕВ. **Два рассказа** 10

Борис ПЕЙГИН. **Доктор Канин** 18

ПОЭТОГРАД

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ. **Ранний свет** 36

ОТРАЖЕНИЯ

Василий КИЛЯКОВ. **Неугомонный** 43

ПОЭТОГРАД

Сергей ВОРОНОВ. **Когда мы жили на семи ветрах** 60

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Натэлла ЛЕВИЦКА. **Два рассказа** 66

ПОЭТОГРАД

Галина ТАЛАНОВА. **Жизнь вошла в колею**... 70

Александр ДИВЕЕВ. **Я рождён под странною звездой**... 76

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Наталья ЗАЙЦЕВА. **Мамины рассказы** 80

СВОЙ ЖАНР

Ольга КОСТИНА. **Свет осени** 113

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр ЗРЯЧКИН. **На добро отвечайте добром**... 115

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Александр ЛЕПЕЩЕНКО. **Смешные люди (Окончание)** 118

В МИРЕ ИСКУССТВА

Валерий ШАМРАТОВ. **Разносторонний талант** 172

СТАТЬИ

Владимир АЛИФАНОВ. **Заветному звуку внимая**... 174

РЕЦЕНЗИИ

Ярослав КАУРОВ. **«Роман в стихах»** 178

Михаил МУЛЛИН. **Стихи о несбывшемся и сбывшемся** 179

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ

Владимир ЕФИМОВ. **Неуловимый автор неуловимых «красных дьяволят»** . . 182

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС



**Наталья
МЕДВЕДЕВА
(1943–2000)**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Венок сонетов – условная форма. Я не люблю условных форм: они слишком навязывают содержанию свои ограничения. Вот у Сельвинского – венок «Юность». Юность – увы! – состояние преходящее, конечное. А у венка, как у кольца, конца нет. Форма и содержание вступили в противоречие.

Но есть три вечные темы: Жизнь, Смерть, Любовь, – которые бесконечны в своём круговороте. Недаром Любовь увенчана венком сонетов множество раз – с эпохи Возрождения до наших дней. Смерть люди тоже постоянно венчают погребальными венками – именно венками! – не поэтому ли?..

И вот Жизнь – хрупко-конечная в каждом своём проявлении и беспредельная как явление – разве сама она не есть венок, в котором ещё сплелись воедино, словно нежные и корявые стебли, прекрасное и уродливое, жестокость и мудрое всепрощение, вопросы и ответы?

Вот почему условность формы пропадает. Диктуется необходимость формы.

Жизнь есть движение. Движение всегда относительно. Мы ли это стареем или просто жизнь молодеет вокруг нас?.. Это – тема магистрального сонета.

Жизнь есть преодоление. Через преодоление самих себя в своих единичных, частных, конечных жизнях мы приходим к постижению истин, которые общи, вечны и беско-

-
- Наталья Михайловна Медведева родилась в 1943 году в Саратове. Окончила физический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В студенческие годы с молодёжным поэтическим театром «Данко» побывала на гастролях в Сибири и за Полярным кругом. Кроме профессионального чтения стихов занималась музыкальным оформлением спектаклей. После окончания СГУ работала инженером, учителем физики, заведующей учебной частью, преподавателем подготовительных курсов СГУ, администратором в театре драмы. Дом Натальи Медведевой был известен своими «поэтическими субботами», на которых бывали поэты и журналисты Саратова. Публиковалась в журналах «Москва», «Литературная учёба», в коллективных сборниках. В 2008 и в 2013 годах в журнале «Волга–XXI век» были опубликованы архивные подборки стихотворений Натальи Медведевой.

нечны всюду, где есть Жизнь, ибо эти истины – её законы и условия её существования. Постижение же истины включает в себя потребность и готовность эту истину защищать. Это – тема четырнадцати сонетов венка. Это – гимн Жизни.

Насколько всё это удалось – мне судить трудно.

Венок «Жизнь» можно бы считать поэмой в 14 главах с заключением – «магистралом». Поэмой без конкретного героя, ибо я пыталась проследить именно общие закономерности.

Наталья Медведева

ЖИЗНЬ

ВЕНОК СОНЕТОВ

I.

Склонилась Жизнь над детским изголовьем,
Над ним крылом заботливым паря, –
Так расцветает над речным верховьем,
Над ручейком беспомощным заря...

Так далека прохлада сентября,
И ни морщинки нет ещё в межбровье –
Здесь только ласка, нежность и здоровье,
И время – словно в капле янтара.

Склонилась Жизнь копной кустов сплетённых
И нежной грудью берегов зелёных.
Пусть гладь воды не потревожит рябь...

Так материнства глубина бездонна!
Так над младенцем клонится мадонна,
Оберегая сон, расцвечивая явь.

II

Оберегая сон, расцвечивая явь,
Мать, не пеняй растущему ребёнку!
Прости и без внимания оставь,
Что над заботой он хохочет звонко.

Он чужд всему, что так ранимо-тонко.
Ты слепоту в вину ему не ставь,
Пока в терпенье нежность переплавь
И подожди. И отойди в сторонку.

Жестокости нечаянной пора
Исполнена веселья и добра,
Хоть ранить может шалостью любовью.

Но смутно пробуждается душа...
И Жизнь на шалунишку-мальша
Как мать глядит с бессонною любовью.

III

Как мать глядит с бессонною любовью,
Так край родной глядит на малыша,
И дальний луг манит цветущей новью,
И синей высью полнится душа.

А вот крадётся кроха, чуть дыша,
За мотыльком, живым цветком приволья.
Азарт. Бросок... И с непонятной болью
Застыл: в ладошке – тельце, жизнь – ушла.

Стой, вещий миг! В нём спит ещё сознание,
Но пробуждает душу к состраданию
Победы с гибелью пронзительная связь.

И стёртая пыльца легла на глянец;
И тень погибшей бабочки заглянет
В глаза, где всё – младенческая ясь.

IV

В глаза, где всё – младенческая ясь,
Тень бабочки вопрос неумолимый
Вселила: значит, рвётся жизни вязь?
И значит, жизнь и смерть – неразделимы?!

Так все умрут?.. И ты, ты сам меж ними
Летишь – куда? – от жизни к смерти мчась?!
Твой мир разбит вопросами твоими,
И в чём найти спасительную связь?

Кто в мире ты? Случайности игра?
...Сквозняк непонимания. Пора
Отчаянья, восторгов, слёз, печали...

Но сладко жить, неведомым томясь,
Вдруг ощущая крылья за плечами,
И вот уже – ликуя и смеясь.

V

И вот уже, ликуя и смеясь,
Отбросив все вопросы и метанья,
Он пьёт взахлёб хмельную жизни сласть,
Он весь – порыв, полёт, мечты, желанья.

Он сам – росинка, крохотная часть
Природы всемогущей, мироздания.
Здесь всё его: блеск звёзд и гроз сверканье,
Все бури он приемлет, не таясь.

И ясен мир. Он всё в нём понимает!
Но девочка ресницы подымает...
Озноб и жар... Он всё забыл! Застыл...

Он вспыхнет, назовёт её любовью...
Но жар влюблённости, а не любовный пыл
Играет всей вскипающею кровью.

VI

Играет всей вскипающею кровью
Полудитя. И девочке вослед
Глядит: она – поэма! Он – поэт!
Ах, мальчик, это только предисловье...

Ещё тебе теряться столько лет
Пред каблучков стремительною дробью,
Под нежным взглядом, пред надменной бровью:
Прекрасных – много, а любимой – нет.

Так, значит, зря он к ней на ощупь брёл?..
Но вырос оперившийся орёл,
Ему под стать лишь боги да герои,

И мощен взмах его окрепших крыл!
Исполнено надежд и гордых сил
Дитя недавнее – он жизнь зовёт сестрою.

VII

Дитя недавнее – он жизнь зовёт сестрою,
И Родину он начал понимать
Не только как защитницу и мать –
Как женское, ранимое, родное,

Что он рождён всей кровью защищать,
Коль хрупкий мир обрушится войною
Иль будней ржа посмеет разъедать.
Он молод. Он силён. И лишь с собою

Он совладать не может... В час ночной –
О, странности твои, любовь! – тобой
Пленён созревший за тебя сражаться.

Любимая!.. К ногам её припасть,
От счастья замереть иль разрыдаться,
Ей поверяя боль свою и страсть.

VIII

Ей поверяя боль свою и страсть,
Будь осторожно-бережен с любимой:
Трещит и рвётся, спутываясь, снасть,
Коль близко корабли проходят мимо.

Как, бросившись в поток необратимый,
У времени высокий миг украсть,
Чтобы любви не умирала власть,
Чтоб быт не засосал ненасытимый?..

Что зрелости так сложно – просто детям:
Как хрупкий мостик, отражаясь в Лете,
Свершает чудо детская игра:

Двоих, соединённых звонкой нитью,
Наводит вновь на давние открытия
Жизнь – зрелости наперсница-сестра.

IX

Жизнь – зрелости наперсница-сестра,
Спасибо, что не стелешься равнинно,
Что высишься как гордая гора,
Где никому не ведома вершина.

Даришь такие выси и ветра,
Грозишь утраты гибельной лавиной...
А там, внизу, росистой долиной
Простёрлась память детства и добра.

Но нет дороги в милое вчера.
Стократ нам невозвратное дороже.
Ветра! Ветра всё яростней, всё строже,

Вершины зов несут, срывают кожу,
Всю душу пробирая до нутра!..

...Но вот иная близится пора.

X

Но вот иная близится пора,
Где, к штурму изготовившись, как к бою,
Оглянешься... Но в блеске серебра
Свою вершину видишь – над собою.

Так в чём был смысл пути?.. Не справясь с болью,
Откроешь суть, что в простоте – мудра:
Что в битве жизни, смерти, зла, добра
Связующую нить зовут – Любовью.

А та вершина... Мало кто их брал.
Но ты открыл ближайший перевал,
Другим даруя это восхождение.

Тот победил, кто отдал всё, что мог,
С несдавшейся душой встречая срок,
Где мудрый дух – цена за чувств старенье.

XI

Где мудрый дух – цена за чувств старенье –
О, что душе сей мудрости совет!
Неудержимо вниз по склону лет
Несётся поезд, мимо свищет время,

Как сердце, зорче вглядываясь вслед
Всему, что улетает, молодея!..
Осенних листьев мягкое паденье...
Смирение в природе. В сердце – нет:

Оно растёт, оно вместить стремится
Всю боль земли, как раненую птицу,
Ему родимо всё и все близки...

Нет! В мире жалость не оскудевает,
Доколе, в силе слабость прозревая,
С улыбкой доброй смотрят старики.

XII

С улыбкой доброй смотрят старики,
Как в небо тянутся распахнуто, счастливо
Зелёные весенние листки!
Куда их занесут ветров порывы?..

В своей прекрасной лёгкости хрупки,
О, юные! когда б понять могли вы:
Упругие и нежные ростки
Тем и сильны, что корни в почве живы.

Мы есть, чтоб почвы вы не позабыли.
Уходим мы всё глубже. Но мы были!
Невзрачны мы, корявы и тяжки.

Нет сил... Одна тревога остаётся:
Пусть смерти чёрный ливень не прольётся
На Жизни-девочки наивные прыжки.

XIII

На Жизни-девочки наивные прыжки
Сквозь толщу лет, вздыхая, смотрит старость,
В воспоминаньях – горькая усталость.
Лишь блики детства в памяти легки.

Простилось всё, что прежде не прощалось.
Обиды, раны, как ни глубоки,
Стерпелись... Все невзгоды так мелки
Пред тем немногим, что ещё осталось,

И вот теперь, у края, у черты
Всплывают вновь любимые черты,
Даруя пониманье и прощенье.

А девочка кружится и поёт,
Волшебно-невесом её полёт,
Её беспечность – старцев утешенье.

XIV

Её беспечность – старцев утешенье.
Играй, о Жизнь! Мы будем, мы придём
Детьми, травую, проливным дождём:
Живому всё живое – продолженье.

Зверь, птица, человек и слабое растение –
Пусть беззащитно всё перед своим концом,
Но мощно братство вечного рожденья,
Пока смеётся Жизнь, пока цветёт наш дом.

Прекрасна цепь закатов и рассветов.
Жизнь бесконечна, как веночек сонетов,
Что разнотравьем пёстрым увенчал

Историю, где нету послесловья,
Где, словно у начала всех начал,
Склонилась Жизнь над детским изголовьем...

МАГИСТРАЛ

Склонилась Жизнь над детским изголовьем,
Оберегая сон, расцвечивая явь,
Как мать глядит с бессонною любовью
В глаза, где всё – младенческая ясь.

И вот уже, ликуя и смеясь,
Играет всей вскипающею кровью
Дитя недавнее – он жизнь зовёт сестрою,
Ей поверяя боль свою и страсть.

Жизнь – зрелости наперсница-сестра.
Но вот иная близится пора,
Где мудрый дух – цена за чувств старенье.

С улыбкой доброй смотрят старики
На Жизни-девочки наивные прыжки:
Её беспечность – старцев утешенье.



Андрей
ТИМОФЕЕВ

ДВА РАССКАЗА

У МОРЯ

Молодая пара, приехавшая в Крым в свадебное путешествие, ждала маршрутку из Севастополя в Ялту, где должна была провести две недели. Молодожёны были знакомы всего полгода и ещё не успели привыкнуть ни друг к другу, ни к своему новому неожиданному состоянию, и потому каждое ласковое прикосновение значило для них слишком много. В ясном накалённом воздухе, как на яркой фотографии, виднелись и громоздкое здание вокзала, и непривычные разлапистые южные деревья.

Оля была в особенном восторженном настроении все последние дни. Ей казалось, что теперь, после свадьбы, жизнь станет совсем другой, ей представлялось что-то возвышенное, но твёрдое и важное одновременно. Маленькие дети умиляли её, и при виде каждого она начинала теревить Максима, будто сама была ребёнком. Ей нравилось, что и он, обычно сдержанный и серьёзный, постепенно проникался её радостью, а сегодня утром сам указал ей на детскую коляску и, смягчая свой колючий голос, как-то тихо и нежно произнёс: «Смотри: девочка!»

Они стояли на остановке немного поодаль друг от друга, потому что сильно пекло и не хотелось чувствовать жар другого тела. Оля устала. Целый день они ходили по Севастополю. Максим заранее продумал для них маршрут, так что они смогли осмотреть все главные достопримечательности, и она была благодарна ему за это. Приятно было, что теперь именно он должен продумывать и решать,

-
- Андрей Николаевич Тимофеев родился в 1985 году в городе Салават республики Башкортостан. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. Горького (семинар М. П. Лобанова). Публиковался в журналах «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Роман-газета» и др. Лауреат премии им. Гончарова в номинации «Ученики Гончарова» (2013), ежегодной премии журнала «Наш современник» (2014), премии «В поисках правды и справедливости» (2015). Живёт в Москве.

куда им идти и что делать. Но всё-таки ей уже хотелось скорее сесть в маршрутку, чтобы немного побыть одной, углубиться в свои переживания и до конца разобраться в них.

В маршрутке пахло бензином. Оля наклонила голову к стеклу и чувствовала его нервное дрожание. Максим сидел рядом и иногда поглядывал на неё, будто желая убедиться, что его жена здесь, с ним. Люди вокруг, наклоняя голову, терпели жару. А на задних сиденьях трое молодых парней громко и безобразно матерились пьяными голосами.

Оле было неуютно из-за них, как будто лёгкое беспокойство не давало погрузиться в свои мысли целиком, но постепенно мечтательная дремота охватила её. Разве имело значение, что делается во внешнем мире, когда внутри было так спокойно и хорошо?! Оля представляла, как наступит вечер, и они пойдут на пляж, и как она войдёт в ясное тёплое море, ощущая его незыблемую мягкость.

Вдруг кто-то задел её руку, Оля вздрогнула.

– Ведите себя прилично! – услышала она чей-то надрывный голос и удивилась тому, что Максим поднялся с места, и тому, как дрожат его губы.

Один из парней дыхнул из-за сиденья кислой спиртовой волной.

– Хватит материться в присутствии моей жены! – с ненавистью закричал на него Максим.

Оля с удивлением смотрела на него, она никогда ещё не слышала, чтобы он так кричал, и только сильнее вжалась в кресло.

Кто-то из мужчин вступился за Максима, спереди заголосила пожилая женщина. Но Оля различала только странный, чужой голос мужа. Наконец водитель остановился и пригрозил, что дальше не поедет. Парни затихли, и только изредка раздавался их сиплый недовольный шёпот. Как-то сразу оборвалось всё, слышно было только, как, заводясь, фыркает, выплёвывает газ маршрутка. Максим уселся рядом и, довольно обнимая Олю, сказал:

– Надо учить таких хорошим манерам.

От его прикосновения стало жарко. Оля отвернулась. Ей казалось, что она задыхается. Казалось, её нарочно заперли в этом душном пространстве и теперь никогда в жизни ей уже не выбраться на свободу. Она подумала, что совсем не знает своего мужа, и от этого ей стало тоскливо, будто она заглянула в глубокий колодец. Медленно, тяжело двигалось время, и постепенно она впала в долгое бессмысленное оцепенение.

В Ялту они приехали к вечеру. Маршрутка остановилась на обочине дороги рядом с пляжем. Максим торопился, потому что дотемна нужно было ещё успеть найти подходящую комнату, но Оля не слышала его. У неё в ушах звенело, будто воздух вокруг дрожал, как оконное стекло. Они двинулись по дороге вдоль пляжа. Повсюду виднелись пёстрые зонты, шезлонги, люди, беззаботно развалившиеся на берегу. Пахло шашлыком и гарью.

И тогда Оле стало жутко оттого, что она находится в каком-то неизвестном городе, за сотни километров от дома, с чужим, почти неизвестным ей человеком. Она рассеянно глядела по сторонам и в полусонном состоянии двигалась за мужем. Будущая жизнь вдруг

представилась ей огромным пустым пространством, таким же бесконечным, как раскинувшееся перед ней тревожное вечернее море.

В ТЁПЛЫХ ЛУЧАХ

Я возвращался из больницы, где лежала моя жена.

Главный вход уже закрыли – никого из врачей или запоздалых посетителей не было видно ни в коридоре, ни на чёрной лестнице, и только на улице у больничных ворот умиротворённо дремали две крупные собаки. Я вышел за ворота и остановился. В тёплом воздухе пахло еловой смолой, и оттого тревога моя как будто ушла вглубь, постепенно поддаваясь ласковому спокойствию летнего вечера. На пяточке у остановки стояли люди, ожидая последнего автобуса в город.

Первый раз мы приехали сюда вчера утром, и вокруг всё было совсем не таким, как сейчас. Повсюду сновали люди, подъезжали машины, лихо шурша колёсами по гравию. К главному входу тянулась длинная очередь, и мы встали в конец, нетерпеливо оглядываясь, будто надеясь, что нам можно пройти просто так. Жена молчала, машинально разглядывая свою фотографию в паспорте, который ей нужно было сейчас предъявить охраннику.

Подошли к проходной. Охранник медленно записал наши данные в толстую тетрадь и коротко объяснил, как пройти, но мы слушали рассеянно и долго ещё потом плутали в поисках входа в нужное отделение. Жена не мешала мне разбираться в больничных закоулках, но и не пыталась помочь, а просто ходила следом – я заметил, что ей неуютно было в этих длинных мраморных коридорах. Я же, напротив, радовался, что смог уговорить её оперироваться в дорогой больнице, и обращал внимание на каждую мелочь: на огромный мягкий диван у входа в отделение, на просторный холл с телевизором, на чистоту стен и полов.

Когда мы вошли в палату, там никого не было. Воздух, спёртый от жары, казался тяжёлым и неподвижным. Я распахнул окно и удивился, какой плотной зелёной стеной окружал больницу лес.

– Смотри, как здесь красиво!.. Можно представить, что тебя украли и насильно хотят выдать замуж, – неловко пошутил я.

А она взглянула на меня внимательно и хмуро, так что мы оба почувствовали, что вчерашняя ссора не закончилась и не забылась.

Я тяжело вздохнул и остался у окна, рассматривая уходившую вдаль полосу леса, пересекаемую высотными зданиями начинавшегося на горизонте города. Я злился на то, что она ещё обижается, хотя прошла уже ночь и можно было бы успокоиться за это время, а она злилась оттого, что я мог подумать, что у неё всё могло пройти, будто её обида была чем-то неважным..

Въехал на пяточок автобус, принялся неловко разворачиваться, не умещаясь своим неуклюжим железным телом на маленьком пространстве, и потому он то отъезжал назад, то подавался вперёд. Люди обступили его, а потом спешили войти внутрь, чтобы занять места.

Я машинально подчинялся их напору, не ощущая общей торопливости и только чувствуя сковывающую тело усталость. В голове носились обрывки случайных фраз, её слов, обращённых ко мне, но голос отчего-то был неласковым и даже раздражённым.

Я вспомнил, как вечером, перед тем, как лечь в больницу, мы вернулись домой. В квартире было душно, потому что, уходя, я забыл открыть окно. Жена молча снимала туфли с усталых ног, стараясь не встречаться со мной взглядом. За несколько месяцев нашей семейной жизни я, кажется, научился чувствовать её состояние. Я знал: что-то гложет её сейчас, какое-то эмоциональное движение нарастает внутри, готовясь вылиться наружу, но не мог ничего изменить.

В такие часы мы делали по дому больше, чем иной раз за неделю. Жена начинала размеренно протирать туфли влажной тряпкой, а потом намазывала их чёрным смолистым кремом, я же шёл на кухню и убирал оставшуюся после завтрака посуду со стола. Я не знал, нужно ли греть ужин, и боялся спросить её об этом, и потому, помыв посуду, просто стоял посреди кухни, опершись на раковину и чего-то ожидая.

Когда я вернулся в комнату, жена уже легла. Я облегчённо вздохнул и сел за письменный стол, пытаюсь хоть немного поработать, но всё-таки чувствовал, что она не спит, хотя и не подходил к кровати, убеждая себя, что ей нужно выспаться перед завтрашней поездкой в больницу. Вдруг я услышал, что она плачет. Торопливо поднялся и присел рядом, пытаюсь обнять, но жена отстранялась, будто мои прикосновения обжигали её.

– Ну почему? Что происходит? – спрашивал я. – Скажи мне, ведь я всегда готов помочь.

Но она не отвечала и только вздрагивала своим хрупким телом при каждом всхлипе. Наконец, будто собравшись с силами, повернула ко мне заплаканное лицо и выговорила с ожесточением:

– Я всегда буду у тебя на втором месте... Я уже ненавижу твою литературу! – И отвернулась опять.

Это было несправедливо, я хотел возразить ей, переубедить, но едва я начинал что-то говорить, голос мой становился слабым, а фразы казались ненастоящими.

– Всё будет хорошо, – только и мог сказать я. – Это такой период, его нужно пережить...

– Не будет хорошо! – возразила она резко, лишь немного отнимая лицо от подушки. – Зачем ты врешь? Разве ты не видишь, что с каждым днём становится только хуже?

До того, как мы начали встречаться, она полгода была влюблена в меня. Я же мечтал о сосредоточенной писательской жизни, которая ждала меня впереди, и совсем не замечал её рядом. И теперь я понимал, что эти обидчивость и мнительность связаны именно с тем периодом безответной любви, но не знал, что же мне делать. Мне казалось: сейчас-то я рядом, что же ещё нужно, и разве не видно, как сильна моя любовь?.. Меня раздражали её легкомысленные слова о том, что у нас всё плохо, как будто она радовалась, что это так, или просто искала повод расстаться. Ещё я злился на то, что она совсем не дума-

ет о том, что завтра нам рано вставать, ехать в больницу, а мне потом ещё и на работу на другой конец города – но нет, ей важны были только свои переживания! Так мы и лежали: она – отвернувшись, я – борясь с собственным раздражением.

Автобус повернул, размашисто вильнув тяжёлым телом, так что я мгновенно оказался на солнечной стороне. И от ярких красных лучей, хлынувших в меня, вдруг так горько стало, что мы, как два расстроенных инструмента, никак не можем найти ту ноту, на которой сошлись бы наши голоса. И почему я в тот вечер поддался эмоциям, а не успокоил её, думал я с досадой...

Следующий день прошёл bestолково, в заботах и суете. Я позвонил ей только после работы. Прижимая телефон к уху, стоял перед огромным раскалённым шоссе, по которому то и дело проносились пышущие жаром машины, было плохо слышно, и оттого её голос казался особенно слабым. Вроде бы она просила меня не ездить к ней, не мотаться. А я только вздыхал в ответ на её беззащитную гордость, на желание показаться сильнее, как будто она могла вот так легко обойтись без моего присутствия в этот важный вечер перед операцией.

Когда я приехал в больницу, жена находилась в палате. Она только что перетерпела долгую и неприятную процедуру и теперь была в приподнятом настроении, оттого что на сегодня уже всё закончилось. Мы сели рядом и стали рассматривать причудливые следы от зелёнки на полу.

На другой стороне просторной палаты лежала большая кряжистая бабушка с громким грудным голосом. Она сразу же заговорила со мной, будто бы продолжая давно начатую беседу, а потом принялась предлагать яблоки из своего сада. Кажется, нам с женой приятна была её суетливая разговорчивость – легко было кивать или отвечать что-то простое, для чего не нужно было старательно подбирать слова. Бабушка оказалась очень набожной: вокруг её кровати стояло множество икон, которые она привезла с собой из дома. Иконы громоздились на тумбе, закрывая баночки с лекарствами и мешочки с яблоками, но не умещались там и потому расходились по спинке кровати в одну сторону и по подоконнику – в другую. Потом жена рассказала мне, что у бабушки недавно умер сын, и теперь она часто упоминала о нём без причины.

И всё-таки нам хотелось побыть вдвоём, и потому через некоторое время мы вышли в коридор. Там от окна до окна ходил мягкий прохладный ветер, приятно щекотавший лицо и руки. Но, даже оставшись одни, мы не стали разговаривать, а молча сели на огромный мягкий диван на входе в отделение и замерли, ощущая теплоту друг друга. Ссора ещё чувствовалась между нами, но уже не обидой или раздражением, а едва заметным отдалением, будто что-то внутри не давало нам быть полностью открытыми между собой.

Потом осторожно мы стали заговаривать о чём-то незначительном – то о прошедшей мимо нас доброй пожилой медсестре, которая приветливым обхождением помогала многим больным легче переносить процедуры, то о забавном случае на моей работе, – как бы про-

буя на вкус ту или иную тему. А на прощание жена сказала, что скучает и хочет домой, и я обрадовался, что наша старенькая съёмная квартира, которую она всегда называла чужой, теперь уже как будто стала для неё родным местом.

Её слова грели меня весь вечер, неожиданно вспоминаясь и волнуя сердце. А когда я вернулся домой, в ту самую нашу квартиру, мне почему-то показалось, что жена здесь, спит на кровати, а может, даже плачет, как прошлой ночью. Но в квартире было пусто и одиноко. Я слонялся из комнаты на кухню и обратно, потом сел за стол и вдруг почувствовал, как сильно виноват перед ней.

Она выносила нашу любовь как ребёнка, мучаясь, растя в себе маленький огонёк – самое важное, что у неё было тогда в жизни. Когда мы уже стали встречаться, она иногда рассказывала мне, как тяжело ей было хранить его в себе, уже не надеясь на взаимность. Я кивал в ответ, жалея её, но не ощущал эти слова кожей: они проходили сквозь меня, не задевая. Ко мне ведь чувство пришло неожиданной вспышкой, пронзительной радостью ощутить любящего человека рядом, и я беспечно отдавался этой радости, эгоистически наслаждаясь ею. И даже после свадьбы я почти не думал о нас, а больше о литературе – мне жадно хотелось писать, а жена все эти месяцы жила со мной, не чувствуя меня рядом; ждала отклика, но не могла получить его.

Я поднялся и медленно лёг на кровать, но не мог справиться с нахлынувшим чувством вины. Я представлял, как она плачет здесь одна, отчаянно надеясь, что я подойду и скажу что-то такое, отчего она мгновенно поверит в искренность моей любви, но я только раздражаюсь от этих слёз и принимаюсь бессильно успокаивать её дежурными фразами, от которых становится только тяжелее...

Следующим утром я проснулся от сильной тревоги. Я лежал, пытаюсь успокоиться, собрать растрёпанные мысли, но с каждой минутой всё яснее ощущал, что жене предстоит сегодня настоящая операция, что это будет общий наркоз – и почему же я не боялся этого раньше? Я столько переживал о наших отношениях, о ссоре и даже не подумал о возможной опасности. А жена волновалась, я только теперь понимал, как сильно она волновалась, но не хотела показать мне этого.

Она обещала позвонить перед тем, как её повезут в операционную, но мой телефон молчал, и после обеда я сам набрал её номер. Абонент был недоступен. Я понял, что операция уже идёт, а она просто забыла или не успела позвонить, но равнодушные механические слова в трубке всё равно отзывались во мне мучительным холодом. И страшно было, что я сегодня не услышал её голос, не сказал что-то важное, что могло бы успокоить её, дать сил.

И весь сегодняшний день мне казалось, что воздух вокруг натянут и может порваться в любой момент, а исход операции зависит от одного моего слова, неосторожного движения. Я сидел на работе, а из другой комнаты вдруг вышла незнакомая женщина и, громко хлопнув дверью, выговорила со злостью: «Какие же здесь все идиоты...» Всё содрогнулось во мне от этих грубых слов, будто плёнка

задрожала, готовясь порваться – а ведь именно в этот день она была особенно тонка, и потому в мире должно было быть как можно меньше злости.

А потом я сидел неподвижно, закрыв глаза, чтобы успокоиться, и слушал, как в соседней комнате работает радио. Диктор громко и проникновенно говорил об известных актёрах и актрисах, которые жили театром, и творчество было так важно для них, так постыдно-возвышенно и оторвано от жизни. Но как же чуждо и нелепо это звучало в тревожном ожидании этого дня!

Телефон по-прежнему молчал, и я ничего не знал о ней до тех пор, пока вечером не приехал в больницу. Я торопливо двигался по запутанным коридорам, а сердце сжималось от страха. Наконец я побежал, втиснулся в лифт, ощущая его мучительную медленность. И вот мелькнули передо мной тот диван, где мы сидели вчера, холл с телевизором, пост дежурной медсестры и сама медсестра где-то в глубине ординаторской. Я хотел окликнуть её, спросить о главном, но не знал, как именно выразить свой вопрос. Голос не слушался, и я только бессильно стоял, опершись на стол, глотая ртом воздух, а потом рванул в палату.

На кровати, укрытая простынёй до подбородка, лежала моя жена. Я подскочил к ней и вдруг увидел, как простыня на груди вздрогнула от вдоха. А потом, видимо, услышав мои громкие шаги, жена открыла глаза и медленно, едва заметно улыбнулась.

– Прости, я не позвонила тебе, – сказала тихим виноватым голосом.

Я замер от внезапной нежности и только дотронулся до маленького кровавого пятнышка на её простыне.

– Всё хорошо? – спросил ласково.

– Хорошо, хорошо, – услышал грудной голос сзади и, обернувшись, увидел её соседку – набожную бабушку. – Врач сказал, удачно прошла операция. Она молодец.

– Знаю, – зачем-то сказал я, опять глядя на жену.

Она ещё не до конца отошла от наркоза, ей тяжело было говорить, и потому я старался не давать ей сказать ни слова, но и сам не мог произнести ничего особенного. Осторожно осмотрел её рану, пропитанные пахучей мазью бинты, укрыл тёплым одеялом, старательно загибая края, чтобы внутрь не проник случайный ветерок. Сел на краешек кровати.

Она кивала – иди, опоздаешь, поздно приедешь домой, а я только грустно улыбался. На тумбочке случайно заметил маленькую малиновую заколку, и так приятно стало, что в этой чужой обстановке рядом с ней лежит знакомая вещь.

Близилось время последнего автобуса, а я всё ещё сидел рядом, наклоняясь к подушке, касаясь её волосами, слыша близкое дыхание. Бабушка на соседней кровати как-то особенно громко завозилась, а потом вдруг отчётливо и монотонно стала читать молитву о своём умершем сыне. Мы замерли, боясь помешать ей. Стало так спокойно и торжественно: и мы, и наша любовь, и эти тяжёлые слова – будто дыхание Бога рядом. И кажется, мы оба почувствовали вдруг, как

много значит этот долгий момент в нашей короткой, как одно грудное слово молитвы, жизни.

А когда бабушка закончила, я всё-таки собрался уходить.

– Спасибо, что пришёл, – сказала жена на прощанье.

И у меня сердце сжалось от её незащитности – разве я мог не прийти? Но я только улыбнулся, спокойно и нежно:

– Спасибо, что разрешила прийти...

И увидел, как постепенно теплеют её глаза.

А потом в автобусе, прислонясь к мелко дрожащему стеклу, я смотрел вокруг, и на душе было светлее оттого, что на всём этом грубом и грустном мире будто бы запечатлелась её последняя тёплая улыбка. За окном, по кромке леса на горизонте, по верхним окнам домов разливался горячий закат. Постепенно он спускался всё ниже, пока наконец не заполнил даже асфальт под колёсами автобуса, проникая внутрь, под сидения, под ноги стоявшим людям. Я чувствовал, как он наполняет и меня, и все ссоры, тонкости отношений, непонимание – всё тонуло в нём, но в то же время что-то важное, чего я сам ещё не понимал, как бы скрепляло нас друг с другом...

Раньше я думал, что в любви всё должно быть идеально, что нужно искать человека, который полностью подходил бы тебе, ведь любовь должна быть один раз на долгую жизнь. Я знал, как важно, чтобы у людей совпадали мнения по многим вопросам, чтобы правильно могли соединиться все человеческие качества. Но разве так мы выбирали друг друга? Нет – и у неё, и у меня это было, по большому счёту, внезапное влечение, совершенно не укоренённое в душе. И теперь я уже понимал, как случайно было наше соединение, как много есть в нас таких шероховатостей, которые никогда не лягут гладко, не притрутся – того, что ни один из нас не сможет полюбить друг в друге, самое большее – привыкнуть. Но, даже зная об этом, чувствуя это так неотвратно, разве можно было помыслить о ком-то другом рядом? В этом огромном всепоглощающем закате такой ничтожно короткой казалась собственная жизнь, что невозможно было ничего в ней менять и ничего другого выбирать. Моя жизнь не готовилась, как мне казалось раньше, она уже шла, и это была теперь не моя, а наша жизнь... Тополиная пушинка попала на стекло и трепетала, прилепившись к чёрной резиновой окаёмке автобусного окна.

Я думал: как же мне сделать её счастливой, как нам встать лицом к лицу – увидеть что-то самое важное друг в друге. Как преодолеть себя, стать чем-то большим, чем просто самолюбивым человеком со своими узкими убеждениями и предпочтениями. И так хотелось назад, ещё раз увидеть её, прижаться щекой к маленьким бледным рукам и говорить что-то очень важное, чего я, может, никогда ещё не говорил, но я только жмурился от неожиданного чувства и усталости.

Жена моя... Как странно происходит: вдруг шелуха жизни спадает – и всё проясняется. И тогда остальное: и литература, мёртвая, безжизненная, призрак без костей, пластмасса, и собственные желания, и мелкие обиды – всё становится неважным. И как будто море жизни открывается впереди, и надо только двигаться по нему куда-то за горизонт, где начинается что-то новое, счастливое и радостное...



**Борис
ПЕЙГИН**

ДОКТОР КАНИН

1.

Доктор Канин выехал из Дементьевска-Тиманского рано утром. Доктор Канин ехал в город N, что где-то в Центральной России, читать лекции для повышения квалификации тамошних эскулапов. На лице у доктора Канина была кислая мина. Ему было скучно.

Оно и понятно. В купе он ехал один, да и вообще в вагоне народу было мало. Канин находился как раз в том социальном статусе, когда «СВ» руководство ещё не оплачивает, а в плацкарт садиться уже как-то не с руки. Никакого чтива, кроме свежего номера «Ведомостей» из автомата на вокзале, он с собой не прихватил, а рубиться в «Героев-3» на ноутбуке ему уже порядком надоело. Да и несолидно это. Что он, студент сопливый, что ли? Кандидат медицинских наук, доцент на своей кафедре, старший научный сотрудник НИИ пульмонологии, а в игрушки играет. Смех, да и только.

Он смотрел в окно, а видел своё отражение. Физиономия вырисовывалась неприятная, любоваться на неё не хотелось. Канин провёл рукой по седеющим волосам, которые никак не желали лежать по-человечески, зачем-то дотронулся до высокого, чуть скошенного лба, потом махнул рукой и попробовал было читать газету. Не тут-то было. Глаза начинало резать, чёрные на сером буквы сливались в одно большое сюрреалистичное пятно, и настроение у доктора Канина испортилось ещё сильнее. Самое страшное для врача – понимать, что он болен. А в том, что сходить к офтальмологу по возвращении в город всё-таки придётся, у доктора Канина ни малейших сомнений

-
- Борис Пейгин родился в 1988 году в г. Северске Томской области. В 2010 году окончил юридический институт Томского государственного университета. Живёт в Томске, работает юридическим консультантом. Первая публикация состоялась в 2003-м в детской литературной газете «Штудия» (г. Томск). В 2010 году вошёл в шорт-лист премии «Дебют» с рассказом «Жизнь Сергея Ипсиланти». Лауреат областного детско-юношеского литературного фестиваля (2005). Финалист конкурса «Король Томской поэзии» (2009).

теперь не было. С другой стороны, в очках ещё презентабельнее будет выглядеть.

Потом он попробовал почитать им же написанные лекции (там шрифт был покрупнее). Вышло ещё хуже, чем с газетой. Тему лекций – респираторный дистресс-синдром – он и так знал на ять, рассказал бы и с закрытыми глазами. А открытые всё равно видели плохо.

Вообще, справедливости ради следовало признать, что жизнь была не так уж и отвратна. Не далее как месяц назад Канин очень удачно сменил свою «трёшку» на Волобуева (почти центр, но далеко от метро) на четырёхкомнатную на Ясновском Поле, что уже не такой центр, зато метро прямо под носом. Сбор материала на докторскую шёл полным ходом. Ну и так далее, и так далее.

Так он и ехал в одиночестве до самого Глазова, то есть почти до вечера. Сходил в вагон-ресторан, с важным видом постоял у окна в коридоре, почитал с горем пополам газету. Пробовал поспать, но заснуть так и не смог.

Наконец он не выдержал, расстегнул сумку и достал оттуда бутылку сливового вина, подаренную наемни одним пациентом. Тот знал, что доктор Канин любит сливовое вино, и где-то раздобыл его любимый сорт, надо сказать, довольно дорогой. Канин подумывал оставить вино дома в серванте, но не совладал с собой и в последний момент засунул в сумку.

Поезд уже отъехал от перрона глазовского вокзала, когда доктор Канин, налив вина в маленькую стопку, чокнулся со своим отражением в начинающем чернеть окне и чуть-чуть пригубил. Вино шикарное. Словами вкус было не передать.

В этот самый момент дверь купе открылась, и вошёл человек. Более от скуки, чем от интереса, Канин внимательно рассмотрел его. На вид вошедшему было примерно столько же, сколько самому доктору – сорок пять, много пятьдесят. У него было очень своеобразное, запоминающееся лицо: сухое, серое, покрытое редкими, но глубокими и длинными морщинами, стянутое в какой-то странной, задумчиво-суровой гримасе. Глаза этого человека отдавали едкой, неприятной желтизной, к тому же постоянно подёргивались, будто их обладатель всё пытался зацепить что-то взглядом и не мог. На человеке этом был недешёвый, но сильно измятый серо-бежевый плащ, не застёгнутый ни на одну пуговицу, чёрная сумка на плече, а в правой руке – какая-то книга. Эту книгу крепко сжимали пальцы – длинные, сухие, костлявые пальцы, с потрескавшимися, совершенно неухоженными ногтями и страшными кровавыми заусенцами, а один из них явно гноился.

Впечатление оставалось неприятное. Будь дело веке в девятнадцатом, про такого человека сказали бы: «желчный субъект». Но на дворе, слава Богу, был двадцать первый, так что награждать соседа по купе таким эпитетом показалось Канину до смешного высокопарно. Для приличия, конечно, следовало поздороваться, что Канин и намеревался сделать, но вошедший опередил его.

– Здравствуйте, – почти неразличимо сказал он не то доктору, не то куда-то в сторону, а затем посмотрел на Канина и улыбнулся ему – сдержанно, одним намёком, но как-то очень приветливо, так, что первое впечатление развеивалось как-то само собой.

– Здравствуйте, – кивнул Канин и, смущённо отставив стопку, посмотрел в окно.

Вошедший же между тем сел напротив него и, не положив в рундук сумку и даже не снимая плаща, открыл книгу и принялся сосредоточенно вглядываться в убогий текст. Затем достал откуда-то огрызок карандаша и начал им что-то подчёркивать. Надо полагать, со зрением у него тоже было неважно, так низко он нагнулся над столом.

Здесь доктор Канин почувствовал себя неловко. Заниматься какими-то своими делами в присутствии этого человека ему казалось неудобно и почему-то невежливо, и поэтому он просто смотрел в окно. Так прошло полчаса, может, три четверти часа, Канин времени не засекал. Наконец сосед отложил книгу в сторону и поднял глаза.

– Скажите, вы куда едете? – раздался его тихий, необычайно спокойный и умиротворённый голос.

– В N, – ответил Канин, ожидая, что последует за этим вопросом.

– Правда? – с воодушевлением спросил человек.

– Да.

– Вы тоже... в монастырь?

– Нет, я по работе. А в какой монастырь?

– Z-ский мужской монастырь. Древняя святая обитель. – И он улыбнулся снова и снова едва заметно, но очень тепло и мягко.

– Я даже и не знал, что там есть монастырь...

Доктор Канин на этот раз внимательнее всмотрелся в его лицо и не смог понять, отчего эта улыбка так к себе располагает. Ведь это даже улыбкой назвать было сложно – на лице его попутчика почти не было мимики. К тому же выражение задумчивости, сосредоточенности никуда не исчезало.

Доктор Канин смотрел так, наверное, с полминуты, не отводя глаз. Куда же смотрел незнакомец, сказать было сложно: его взгляд так и не зацепился ни за один предмет в купе, так, как будто бы для этого человека все они были одинаковые.

Наконец, нарушив повисшее молчание, он произнёс:

– Наверное, вы никогда не бывали в этом городе раньше. Все знают об этой обители, все едут туда. И я тоже... Надеюсь успеть к Страстной пятнице.

Ах да, вспомнилось Канину, скоро же Пасха. А нынче четверг, Чистый четверг, стало быть.

Тут выяснилось, что сказать им друг другу больше нечего. В воздухе повисло ощущение неловкости, которое хотелось как можно быстрее преодолеть.

Вежливо кивнув, Канин снова отвернулся к окну, но боковым зрением поглядывал на лицо своего попутчика. Оно стало напряжённым, черты заострились, как будто человек подавлял мучившую его сильную боль. Но улыбка с его губ никуда не исчезла и даже не выглядела наигранной и фальшивой – человек действительно улыбался. Напря-

жённость выражения усиливалась, напряжение передалось на шею и плечи, отчего поза стала ссутуленной, а левая рука сжалась в кулак.

Наконец в какой-то момент он вздохнул, тяжело и раздосадованно, вынул из правого кармана белый флакончик с какими-то таблетками (Канин не успел рассмотреть, какими именно), вытряхнул себе в ладонь три или четыре и проглотил, не запивая. Затем он закрыл глаза и несколько минут неподвижно так сидел, еле заметно дыша и ничего не говоря.

Канин, разумеется, понимал, что здесь что-то не так, но долго не мог преодолеть неловкость, пока всё же не спросил – негромко и с какой-то опаской в голосе:

– Вам плохо? Я врач, я могу помочь...

Человек не сразу ответил. Даже глаза открыл не сразу, а едва ли не через минуту.

– Господь с вами, всё нормально, всё хорошо...

– Да нет, я же вижу, вам больно... Скажите, что...

– Язва желудка. Ничего, поболит, пройдёт. Оно в пост всегда сильнее болит, но это ничего, это пост.

– Вы что, всерьёз думаете, – спросил, нахмурившись, Канин, – это мелочь?

– Всё послано Господом как испытание.

– Знаете, верить – это одно, а так... Скажите, вы когда ели в последний раз? И что ели?

– Как же, утром, картошку варёную, без масла, как положено.

– А когда в следующий раз есть будете?

– В Великую субботу утром уже можно будет.

– Я думаю, вам не стоит так делать. Здоровье нужно беречь. От него в нашем с вами возрасте уже и так немного остаётся, надо к нему трепетнее относиться.

– Скажите, как вас зовут?

– Евгений Викторович.

– Так вот, Евгений Викторович, вы поймите – в этом весь смысл поста: это испытание и изнурение для души и тела, это доказательство веры человека.

– Испытание не испытание, но вот с язвенной болезнью желудка шутки очень плохи. Это я вам как врач говорю.

– Это не шутки. Это попытка смирения. – При этих словах попутчик посмотрел куда-то вверх и после некоторой паузы продолжил: – Христос принял смерть за грехи человеческие, и мы воодушевляемся примером Его. И, значит, в каждом из нас должна быть готовность страдать и, быть может, не только за себя. Это и есть то, что называется смирением, самая, наверно, большая добродетель.

– Нет, я не понимаю. Зачем заставлять себя терпеть, если этого вполне можно избежать, вовсе не причиняя никому вреда или неудобства? По-моему, извините, это мазохизм...

Человек лишь пожал плечами и ничего на это не сказал, лишь снова взял в руки книгу и продолжил её изучать.

К этому времени за окном уже совсем стемнело, и доктор Канин решил ложиться спать – не то чтобы завтра ему было рано вста-

вать, но делать всё равно было нечего. К тому же ему было стыдно за свою последнюю фразу, она показалась ему звучащей обидно. Но ещё более неудобным ему показалось за неё извиняться.

Раздевшись и укрывшись одеялом, Канин уже сквозь сон видел, как его попутчик по-прежнему сидит за столом в одной позе, с карандашом в руке.

Нельзя сказать, что постель в вагоне самая мягкая, чистая или тёплая на свете, но доктор Канин в ту ночь отлично выспался. Он проснулся очень поздно, почти в одиннадцать утра, когда проводница зашла в купе предупредить пассажиров, что через 40 минут – город N и что бельё пора сдавать.

Канинский попутчик в это время тоже спал – так и не снимая плаща, прислонившись к окну. Перед ним лежала раскрытая книга, по столу с неприятным шорохом перекачивался огрызок карандаша.

Он крепко спал. Голоса проводницы он не услышал, и поэтому Канин, дождавшись, когда та уйдёт, встал с постели, оделся и, наклонившись к своему спутнику, произнёс:

– Просыпайтесь. Через 40 минут прибываем.

Но он не просыпался. Тогда Канин легонько тронул его за плечо, и это возымело действие – человек дёрнулся всем телом, ещё сильнее вжался в угол и только потом открыл глаза, а когда понял, в чём дело, растерянно произнёс:

– Извините меня, я, кажется, уснул. Слава Богу, что вы меня разбудили, спасибо.

– Не за что. Это вы меня извините, что так бесцеремонно.

– Нет-нет, ничего...

Он смотрел на доктора, бесцельно моргая глазами, будто пытался сфокусировать взгляд. Вероятно, вновь подумалось Канину, у его попутчика тоже были проблемы со зрением.

Всё-таки он был странный, этот человек: вроде бы первое впечатление от него осталось пренеприятное, но стоило ему заговорить, и оно тут же поменялось, а ведь это так редко бывает! И какая-то сверхъестественная теплота исходила от его в общем-то самых обычных слов и от его улыбки, такая теплота, от которой хотелось жить.

Перрон вокзала в городе N всегда был многолюднее, чем сам город: здесь была большая станция, часто и надолго останавливались поезда. На платформах шла бойкая, никем и ничем не искоренимая торговля с рук всем, чем только можно – от пирожков и беяшей с неизвестной начинкой до нехитрой радиоэлектроники и мужских журналов за прошлый месяц.

Сойдя с поезда, Канин тут же затерялся в шумной вокзальной толпе, которая перенесла его через путь, высокую платформу, внесла в здание вокзала, вынесла из него и рассеялась, оставив одного на привокзальной площади.

Там было совсем не то что у поездов: на большой площади, где проезжая часть была покрыта потрескавшимся асфальтом, а тротуары – битыми плитами, почти никого не было. Правда, у другого

конца здания вокзала, где располагалась автостанция, стояло в ожидании пассажиров несколько пригородных «Газелей» и производило некоторое оживление, но в остальном было пустынно и тихо.

В этот самый момент из вокзала вышел ещё один человек, в котором Канин без труда узнал своего попутчика. Подойдя к доктору, он улыбнулся и спросил:

– Вы не знаете, как уехать?

– Если честно, нет, – признался доктор Канин, который, надо сказать, и не задумывался об этом вовсе, рассчитывая взять такси, которое и так куда нужно увезёт.

– А куда вам нужно?

– В больницу для начала.

– А-а-а, садитесь вот прямо здесь на 3-й автобус и езжайте до конечной. Прямо к больнице приедете. А можете на такси, если хотите. Только здесь вы такси не поймаете, пройдите во-о-он туда, метров сто, они все там стоят.

– Хорошо, спасибо большое.

– Не за что. А вы всё-таки приходите сегодня в монастырь на службу и завтра приходите... Приходите.

– Ладно, я попробую, если у меня получится, я приду.

– Что ж, всего доброго.

– До свидания.

Сказав это, человек наискосок пересёк площадь и скрылся в каком-то из дворов.

Канин, никуда не торопясь, по-прежнему стоял на остановке, выбрав место посуше, и щурился от тёплого весеннего солнца. Можно было насладиться тишиной, свежим воздухом, хорошей погодой и ярким солнечным светом. На долю доктора все эти удовольствия редко выпадали. В его кабинете было душно и жарко, в операционных института – ещё душнее и ещё жарче, а при включённых кондиционерах – нестерпимо холодно. А дома? А дома бывало по-разному, но почему-то всегда темновато.

Здесь Канину показалось, что в большом городе, откуда он приехал, вообще было существенно темнее – может быть, потому, что дома там выше, может быть, потому, что сам город – севернее, какая разница? Он постоял так ещё некоторое время и тоже пошёл наискосок через площадь, только в другую сторону – туда, где, как указал ему попутчик, стояли таксисты.

Носатый седой армянин, водитель неопределённого цвета «семёрки», мирно почивал на разложенном кресле и на голос Канина никак не реагировал, поэтому доктору пришлось поступить невежливо: он просунул руку в опущенное с водительской стороны окно и легонько постучал по пыльному пластику приборной доски, и это мгновенно подействовало.

Задав дежурный вопрос: «Куда?» и услышав ответ на него, армянин назвал дежурную же цену – «пятьдесят». Будь в городе сто тысяч населения, он попросил бы семьдесят, а если полмиллиона –

сто семьдесят. Доктор Канин отлично это знал, поэтому вытащил полтинник из кошелька ещё на подходе.

Ехать по городу тоже оказалось одно удовольствие: на улицах не было ни светофоров, ни разметки, ни, собственно, потока, изредка попадавшиеся одиночные машины почти мгновенно терялись из виду. В приоткрытое окно врывался свежий ветер, однообразные и в то же время совсем не надоедающие пейзажи небольшого города проносились мимо, и даже многочисленные выбоины на асфальте почти не ощущались. Таксист ехал быстро и соблюдением правил себя особенно не утруждал (в чём, впрочем, и не было особой необходимости), так что доехали они минут за десять, если не быстрее.

Собственно занятие было намечено на час пополудни, так что, бросив вещи в гостиничном номере, скромном, но чистом, доктор Канин, которому порядком надоело как сидеть, так и лежать, стал думать о том, чем же здесь можно заняться. Вопрос был отнюдь не праздный, так как обратный поезд был только в субботу утром и нужно было как-то спланировать время.

Занятый построением этих планов, он зачем-то вышел на улицу и куда-то пошёл – неизвестно куда. Не то чтобы он очень сильно хотел прогуляться – просто ноги сами вынесли его, и он не стал этому противиться. Сами же собой перед его глазами возникли наполовину обшитый сайдингом универмаг с окнами, местами заложеными шлакоблоками, за ним – ещё один торговый центр, который когда-то явно был кинотеатром, а за его углом обнаружился небольшой и нешумный, но колоритный и очень ароматный рынок, мимо которого Канин просто не мог пройти.

Он вспомнил, как в детстве бегал на точно такой же базарчик (в те времена такие ещё были в Дементьевске-Тиманском), покупал там малосольные огурцы, редис, квашеную капусту, зелень, причём покупал всегда больше, чем было нужно – многое съедалось уже по дороге... Доктору Канину вдруг почудилось, что вот здесь, сейчас он увидит ровно то же самое – такие же огурцы, такую же квашеную капусту, и он был почти уверен, что, как найдёт, непременно купит...

Однако ни огурцов, ни квашеной капусты на рынке не нашлось. Там были прошлогодние мандарины, яблоки и хурма, сложенные в аккуратные пирамидки, да ещё очень много крупной, неестественно чистой картошки в фирменных красных сеточках. Доктор Канин даже не сразу понял, что в апреле месяце свежих овощей быть по определению не может.

Отойдя куда-то в сторону от торговых рядов, Канин присел на чистую от снега скамейку. Ему вдруг очень захотелось курить, хотя он бросил ещё лет пятнадцать назад.

Никак не выходил из головы безымянный попутчик. Он вообще редко обращал внимание на дорожные знакомства, и любого другого забыл бы через пять минут, но этого... Какая стойкость, думалось Канину, ведь, как он вспомнил услышанное где-то, больные освобождаются от поста. А ещё этому человеку должно быть больно, очень,

очень больно. Канин, конечно, не был гастроэнтерологом, но ощущения представил себе довольно живо. А кругом все спуют, все бегают, все чем-то заняты, и кому какое дело, что нынче Страстная пятница! Все об этом забыли... И тут же в голову пришла крамольная мысль: а может быть, и правильно сделали?

Доктор Канин никогда не считал себя не то что религиозным, но и просто верующим человеком и потому не смог себе объяснить, откуда у него возникло желание всё же съездить сегодня вечером в этот монастырь. Но сделать это он решил твёрдо – в том числе и потому, что заняться всё равно было нечем. Не пить же с местными коллегами. Тем более что доктор Канин с кем попало не пил.

2

Занятие по повышению квалификации получилось неприлично скучным. По ходу лекции доктор Канин всё пытался, но так и не смог понять, кого сильнее клонит в сон: слушателей или же его самого.

В монастырь он сначала хотел было отправиться пешком, но, когда спросил у местных, куда нужно идти, и услышал от них, что монастырь находится в добром десятке километров от города, решил всё же взять такси.

...Машина притормозила метрах в ста от монастырских ворот: ближе таксист подъезжать не рискнул из-за собравшейся под стенами большой толпы. Расположенная справа от ворот стоянка была до отказа забита автомобилями, рядом с выездным шлагбаумом стояло несколько паломнических автобусов.

Лишь только доктор Канин ступил на землю, толпа, как за несколько часов до того на вокзале, подхватила его и понесла. Только оказавшись по другую сторону стен, за воротами, Канин смог выбиться из общей толчеи и, встав на бордюр, немного осмотрелся по сторонам. В огромном комплексе монастырских зданий церквей было, по меньшей мере, восемь, но действовали из этого числа, по-видимому, только три, так как народ стекался туда.

Канин точно не знал, в какую из них следует идти, поэтому пошёл в ту, которая оказалась ближе всего – не очень большую, но, как и все здания в духе классицизма, не лишённую некоторой массивности. За тяжёлыми дубовыми дверьми, в притворе, и далее в западной части придела людей было сравнительно немного – отдельные разрозненные группы, но дальше спины смыкались сплошной стеной.

...Доктор Канин стоял у западной стены, не пытаясь прорваться через толпу. Нет, он не молился и не думал о страстях Христовых, и вообще, наверное, в тот момент он ни о чём не думал. Больше в воображении, чем на языке, он перекачивал подхваченное им где-то в притворе словосочетание – не то чтобы совсем незнакомое, но определённо новое: «Великая вечерня». Вот как эта служба, стало быть, называлась.

...Священник пел тягучим, тяжёлым голосом, гулкое эхо отражалось от сводов и волна за волной откатывалось от алтарной части к притвору. От этого голоса Канину делалось как-то не по себе, внутри что-то начинало вибрировать и дрожать. Голос проносился над окружавшей людей тишиной, не трогая самой этой тишины – вязкой и плотной... Канину было слышно, как где-то слева от него кто-то чихнул... Было слышно, как ещё левее, у самого окна, какая-то женщина резко и зло цыкнула на не вовремя заплакавшего ребёнка... Как сзади кто-то шуршит пакетом...

Канин осматривался по сторонам, пытался взглянуть в лица рядом стоящих. На службу собрались люди самые разные: старые и молодые, мужчины и женщины, одетые богато и попроще. Но если во всех этих людях и было что-то общее, то это, несомненно, были выражения их лиц: суровые, нарочито хмурые, даже мрачные, с поджатыми уголками ртов и взглядами, направленными в одну точку перед собой. Глядя на эти лица, доктор Канин вдруг понял, что же на самом деле означает выражение «постная мина». Ни за одно из них глаз не цеплялся, взгляд хотелось тотчас же отвести.

Поэтому Канин в какой-то момент стал всё больше смотреть вниз, на пол, поэтому не сразу заметил почти прямо перед собой знакомый серо-бежевый плащ. Они с попутчиком и здесь умудрились не разминуться!

Первой мыслью Канина было подойти и поздороваться, но, сразу поняв, что это будет, по крайней мере, невежливо, он остановился, застыл в полуготовности сделать шаг, с подогнутой в колене правой ногой и головой, наклонённой вперёд. Сразу вслед за тем он почувствовал желание взглянуть этому человеку в лицо, увидеть, что стало с ним, как оно здесь преобразилось. И тогда доктор, осторожно, по миллиметру ступая, через минуту или две сумел вклиниться во впереди стоящий ряд и повернул голову влево.

Человек этот, как и все вокруг, смотрел куда-то в одну точку, но не на впереди стоящих, а как будто бы поверх их голов и плеч – на иконостас или, быть может, сквозь него. Но совершенно другим, отличным от всех прочих было его лицо: на нём запечатлелись одновременно и скорбь, и недоумение, и скрытый, но неподдельный ужас, как будто бы человек оказался в совершенно неестественной для него ситуации. Было видно, что человек очень внимательно смотрел и слушал – глаза его были широко раскрыты, мимические мышцы предельно напряжены. И потому это лицо казалось по-настоящему живым; Канин подумал, что, будь у него зрение получше, он бы непременно разглядел, как на лбу и на щеках его попутчика собираются и тут же разглаживаются крошечные морщины.

Всё это показалось доктору Канину странным, ведь уж у этого человека опыт стояния на службах должен быть огромным! Но подойти и спросить он, конечно, не мог, да и незачем было.

Хотя Канин не обращал ничего внимания на своё присутствие, человек всё же разглядел его боковым зрением и, на секунду отвлекшись, повернулся и кивнул ему, не улыбаясь, впрочем. Канин, также

не улыбаясь, кивнул ему в ответ и тут же сильно зажмурился, так как вдруг ощутил нестерпимую резь в глазах.

...Он стоял, разминая глаза пальцами; был вынос Евангелия, и на какое-то время стало тихо.

Как следует проморгавшись, он снова взглянул на своего попутчика, но – снова зазвучали слова, и доктор Канин волей-неволей отвлёкся.

...святого блаженного Иисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святого Духа, Бога. Достоин еси...

Человек по-прежнему стоял на своём месте и всё так же внимательно смотрел и слушал, но выражение ужаса с его лица на мгновение исчезло, втянутые щёки расслабились, чуть сощурились глаза. И тут же лицо напряглось снова.

И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии.

Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне...

Человек вдруг зажмурился, видно, от резкой боли, а открыв глаза, шумно вдохнул и начал судорожно сглатывать, будто подавляя подступавший к горлу ком.

...кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих»;

итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ.

[Господь] сказал: Сам Я пойду и введу тебя в покой.

[Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда, ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле...

Человек продолжал стоять не двигаясь, но Канину было видно, как он стискивает зубы, как по морщинистому лицу начинают ходить желваки, как взгляд начинает метаться по церкви из угла в угол. Но на этом лице не появилось ни тени озлобленности, человек стоял и продолжал внимательно слушать.

И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени.

Человек лихорадочно запустил правую руку в карман плаща, пытается что-то там найти, но нужного предмета, видимо, не нашлось. «Он всё-таки доигрался со своей язвой, – подумал доктор Канин. – Ах, я же его предупреждал... Надо его отсюда вывести, и в больницу его, срочно в больницу!..»

[Моисей] сказал: покажи мне славу Твою.

И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и возглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею.

И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых.

И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расщелине скалы и покрою тебя ризою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо.

...Но было уже поздно. Лишь только Канин, потеснив стоявшего слева от него, двинулся туда, где стоял его попутчик, он увидел, как тот резко, всем телом дёрнулся, обеими руками оттолкнул стоящих впереди женщин, и его вытошнило чёрной зловонной массой. В первую секунду повисла гробовая тишина, человек стоял, наклонившись, упершись руками в колени, и тяжело дышал, и в этот момент его вытошнило снова.

«Рвота цвета кофейной гущи... – вспоминал Канин цикл гастроэнтерологии. – Это желудочное кровотечение. И, похоже, очень сильное. Ну всё, труба...»

И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц...

– Помилуй, Господи! – закричала какая-то женщина. – Нечистый! Здесь нечистый!..

...Доктор Канин плохо помнил, что началось потом. Поднятая кликушей волна паники в мгновение разлилась по всей церкви. Поднялся страшный шум: визжали женщины, плакали дети... Все разом рванули к выходу, в притворе началась сильная давка.

Доктор Канин попытался прорваться к своему попутчику, но в начавшейся панике это было непросто.

– Дорогу! Пропустите, пропустите, я врач! – он кричал что было силы, но его никто не слушал и в общем шуме не слышал.

«Как бы они его не растоптали. Осмотреть, осмотреть, как бы там перфорации не было. Проперкутировать, сохранена ли печёночная тупость, посмотреть на симптом Щёткина-Блюмберга... Только бы он был не в коме...»

– Вызовите скорую кто-нибудь! Он же умрёт! Ну пропустите же! Пропустите!

Жалкие три-четыре метра до цели Канин прошёл почти за минуту. Человек, вокруг которого разом образовалось пустое пространство, лежал на полу, на спине, повернув голову вправо, и почти не шевелился, его по-прежнему безостановочно рвало. Канин не мог определить, был ли человек в сознании или же нет.

Он ещё продирался сквозь толпу, как его окликнул какой-то монах, который до того стоял, склоняясь над лежащим, и что-то бормотал:

– Вы – врач? Что нужно сделать?

– Переверните, переверните его, положите на бок и рот ему пошире откройте, а то он рвотными массами захлебнётся.

Монах мгновенно всё исполнил.

– Так, я его сейчас осматрю...

– Ещё что-то? – спросил монах подоспевшего Канина и после секундной паузы добавил: – Обезболивающее что-нибудь?

– Нет, ни в коем случае! При остром животе – ни в коем случае обезболивающее не давать, вся клиническая картина смажется... У вас лёд есть? Принесите лёд!

Монах уже развернулся, как Канин окликнул его:

– Скорую вызвали?

– Не знаю, должны были уже.

– Немедленно скорую, немедленно, тут такое сильное кровотечение...

– Хорошо, хорошо...

Толпа к тому моменту почти полностью рассеялась; только лишь бабушки-лампадицы сбились в кучу где-то в уголке, да несколько человек стояли далеко впереди них, у клироса.

Служба, конечно, не прервалась. И не могла она прерваться: ибо служилась она не для собравшихся.

Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится.

Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, – столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих!

Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали.

Доктор Канин, как до того монах, склонился над лежащим, присел на корточки. Расстегнул рубашку, проперкутировал правое подреберье.

...Живот напряжён, звук тимпанический... значит, там газ, похоже, всё-таки перфорация. Плохо дело.

– Эх, говорил же я тебе, не шути ты с язвой...

– Всё в порядке, – вдруг ответил слабым голосом лежащий, пытается приподняться на локте. – Не надо было столько шума.

– Да вы что, – Канин начал пальпировать эпигастральную область, справа, – в самом-то деле, хватит бравады! Вера верой, а так нельзя. Сами себя довели. Сейчас уж просто лежите, на спину не переворачивайтесь, скорая едет. Вот так больнее?

– Да, больно...

- А вот так?
- Так... меньше...
- А здесь? И правда, не нужно бравады, я знаю, я знаю, что больно...
- Нет, нет бравады... Больно?... Больно... Умирать, со Христом в сердце умирать не страшно... А-а-а... Не бойтесь. А шум... паника... страшно, что паника... Только бы там... а-а-а... никто не покалечился.
- Ну, вы умирать-то не торопитесь. Я думаю, всё нормально будет, – доктор Канин резко отдернул пальцы; лежащий дернулся следом. Симптом Щёткина-Блюмберга положительный. Совсем плохо. Можно было бы, конечно, проверить у него ещё несколько симптомов, но доктор Канин решил, что лучше его лишний раз не шевелить – как бы хуже не стало. Да и потом, без препаратов сделать он ничего не мог, а коагулянты в здешней аптечке вряд ли водились. Доктор Канин попытался улыбнуться, но строить из себя оптимиста у него получалось не ахти как. Он-то знал, он-то всё знал.
- И вы не бойтесь, что так обо мне закричали, не бойтесь. Это неважно всё...

Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презируем, и мы ни во что ставили Его.

Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и унижен Богом.

Доктор Канин думал, что к ним кто-нибудь подойдёт. На них двоих и вправду все смотрели, но никто не подходил. Никто. Человек хотел ещё что-то сказать, но застонал, закашлялся, опять лёг на бок, и его тяжёлое, с хрипом дыхание эхом отражалось от свода и стен.

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились.

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас.

Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

Доктор Канин так до конца и не понял, зачем спросил:

– Вы и вправду не боитесь умирать? Даже неисповеданным?

Человек снова приподнялся на левом локте, внимательно посмотрел на Канина и улыбнулся, но уже не сдерживаясь, широко и ясно:

– Боюсь. Очень боюсь...

Он снова закашлялся, и в этот момент сознание оставило его окончательно.

Прибежал монах и принёс пузырь со льдом. Доктор Канин приложил лёд к эпигастральной области и как мог примотал. Трудно было сказать, дало бы это ощутимый эффект или нет, но доктор Канин старался – свой долг он привык исполнять до конца.

С улицы донёсся звук заглушаемого двигателя, и по тёмному приотвору запрыгали синие отблески маячков.

Реанимационная бригада действовала быстро, слаженно, почти без слов. Канин сказал о результатах осмотра, его выслушали, но не очень внимательно. Человека осмотрели снова, положили на каталку как было, на бок, и тотчас же повезли к выходу; Канин следовал за ними.

На улице, когда уже захлопывались двери машины, ему вдруг пришла в голову мысль, что, может быть, стоит поехать с ним, но тут же ей ответила другая, не менее резонная, что в реанимобиль его никто не пустит, и он оставил свою затею.

На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.

Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.

Доктор Канин стоял на крыльце, теребя в кармане завалявшиеся там ключи от квартиры и глядя куда-то вдаль. С запада от начинающего заходить солнца ветер гнал причудливой формы перистые облака, которые проплывали прямо над головой и скрывались за острием колокольни. Ветер шевелил верхушки берёз по ту сторону аллеи, потрёпывал волосы на головах прохожих, шуршал пакетами в их руках.

Доктор Канин так и не мог понять, что же это такое. Что такое должно быть внутри тебя, чтобы ты мог терпеть ТАКУЮ боль? А тот ведь терпел... терпел. Станный человек. В сущности, Канина с ним ничто не связывало, но он понимал, что, пожалуй, ни к кому из своих пациентов он не испытывал такого сочувствия, как к этому человеку.

Доктор Канин, конечно, знал, что это такое, когда умирает твой пациент. У него, как у всякого врача, было своё личное кладбище. Но он, в общем, никогда не казнил себя из-за этого. Да и здесь не казнил, но досадно было до слёз. Ему, Канину, будет очень горько, если этого человека не спасут. Что-то светлое было в нём, что-то, что не хотелось отпускать из мира.

Канин боковым зрением уловил, как сзади к нему подошёл давешний монах.

– Что теперь? – спросил он у доктора.

– Теперь – экстренная госпитализация, наблюдение и, думаю, операция. Резекция желудка, вероятно, хотя я не хирург, я точнее не скажу, там могут быть варианты.

– Это он вас сюда позвал, так ведь? – Монах внимательно, испытующе посмотрел на Канина, и тому неизвестно отчего стало немного стыдно.

– Да, это он. Я, знаете, к стыду своему, не так часто в церкви бываю.

– Это личное дело каждого. А вы с ним знакомы?

– Нет в общем-то. В поезде ехали, в одном купе... А вы?

– Я? Нет, конечно. Сюда ведь много паломников приезжает каждый год. Хотя он часто бывает, я его запомнил. Но по имени, разумеется, не знаю.

- Глупо как-то всё это получилось, глупо. Ведь вдруг такая паника...
- Всякое бывает, и это тоже бывает.
- Да, я понимаю, народ экзальтированный...
- Никого не надо осуждать. Случилось то, что случилось. В этом как раз и есть смысл того, что здесь произошло.
- Вы о чём?
- Я вот о чём. Как вы думаете, в чём смысл чтения Книги Исход на Великой вечерне, когда, казалось бы, речь идёт о новозаветных событиях?
- Не знаю, – честно ответил Канин.
- А смысл в том, чтобы напомнить в том числе и о том, что человек может не понимать и заблуждаться, это свойственно ему. Это что-то вроде наглядного примера: в ветхозаветные времена даже Моисею было невозможно узреть лицо Господа. А когда Христос явился в этот мир, Его лицо могли видеть все. И всё же люди не поняли этого и осудили Его на крестную смерть...
- Я, – растерянно и совсем не к месту сказал доктор Канин, – я, что мог, сделал. Я, может, для церкви человек пропащий, но как врач, что мог, сделал.
- Для Господа никто не пропащий. Скажите, вы за него переживаете?
- Да. Не понимаю, зачем он так?.. Не ехал бы сюда, не изводил бы себя постом, он же язвенник, ему строжайшая диета нужна...
- Каждый сам выбирает себе путь. Страдание – это тоже выбор. Не нам с вами его осуждать. Не казните себя. Не надо.

...Двое послушников нараспашку открыли ворота, и на подворье въехал огромный Dodge Interpid неопределённого цвета. Стоявшие чуть поодаль трое полицейских поспешили к машине и, когда дверь с водительской стороны открылась, вытянулись по стойке «смирно», разве что под козырёк не взяли.

Из автомобиля вышел парень лет двадцати трёх, одетый в дорожную, но безвкусную чёрную куртку с воротником из искусственного меха, с огромным портфелем на плече. Не обращая на стражей порядка ни малейшего внимания, он закрыл машину и поднялся на крыльцо, поприветствовав стоявших там лёгким, но изящным кивком головы.

– Здравствуйте, – негромко и нерешительно, так, чтобы, если что, никто не услышал, сказал доктор Канин.

Монах ничего не сказал, только кивнул.

– Добрый день, – сказал парень, – мне отсюда позвонили, попросили заехать...

– А вы кто? – спросил монах.

– Моя фамилия Постышев, я следователь из района.

Парень вынул из нагрудного кармана красное удостоверение и хлопнул им перед лицом у монаха.

– Значит, сказали уже отцу настоятелю...

– Вообще-то сначала позвонили в полицию, а уж потом мне из дежурной части... Меня вообще здесь быть было не должно, меня с трупа из района выдернули. Ладно, давайте пообщаемся с вами.

Он посмотрел на Канина.

– Будете меня допрашивать?

– Не допрашивать, а опрашивать, – менторским тоном произнёс Постышев, извлекая из портфеля планшет и бланки. – Пока уголовное дело не возбуждено, никаких следственных действий не проводится, допросов в том числе. Это пока только объяснения.

– Вы понимаете, я не из этого города... И вряд ли скоро сюда приеду. Может, лучше без этого, а то как вы меня искать потом будете?

– Ничего страшного, второй раз вас дёргать никто не станет. Вы же, наверное, сами понимаете, что никакого дела здесь не будет.

Опрос происходил там же, на крыльце. Постышев стряхнул перчаткой снег с балюстрады и, опершись на неё, начал заполнять бланк.

– Ваши фамилия, имя, отчество?

– Канин Евгений Викторович.

– Дата рождения?

– Двенадцатое июня тысяча девятьсот шестьдесят *****-го года.

– Место рождения?..

– ...

– Всё верно записано?

– Да, всё верно, вроде...

– Тогда вот здесь напишите: «С моих слов записано верно, мною прочитано» и распишитесь, только дату не ставьте. Вот, возьмите ручку.

– С моих слов... верно... прочитано.

Канин с удовлетворением взглянул на свою размашистую, с претензией на начальственность подпись и вдруг понял, что хочет засмеяться.

– Что с вами?

– Да нет, ничего, анекдот смешной вспомнил...

– Понятно... И я всё-таки не понимаю: как так вышло, что вы с ним разговаривали и даже имя не узнали?

– Да даже и не знаю, – честно ответил доктор Канин, – как-то необходимости в этом не было...

– Да, вам ещё повезло... Человек в прелести, вы с ним говорили... Такие персонажи иной раз даже и не разговаривают...

– Где человек?

– Тут, Евгений Викторович, не «где», тут скорее – «как»... Когда говорят «в прелести» – это что-то вроде православного сленга. Человек соблюдает обряды до такой степени, что, кроме этого, его вообще ничего не интересует. Страшное дело, скажу я вам...

– А вы-то откуда всё это знаете?

– В нашем районе поработаешь – и не такое узнаешь, – невесело усмехнулся Постышев.

– Скажите, а дальше-то что будет?

– Дальше? Дальше будет проверка, будем искать, не было ли у кого умысла на убийство, не отравил ли кто... Но вообще туфта всё это, если честно. Меня лично вообще здесь быть не должно. По-хорошему, такие вещи участковый должен отрабатывать, вон он, кстати, в церкви, протокол ОМП пишет... Тут теперь одна проблема – имя узнать. Документов-то у него при себе не было, оставил, видать, где-то. Эти ж паломники, они же по всяким скитам останавливаются

или ещё где-нибудь в подобных местах. А скитов этих по окрестным деревням...

– А сами-то вы что думаете по этому поводу?

– Да ничего пока не думаю... Я ж с ним не беседовал. По-дурацки как-то всё это. Вот уж правда, заставь дурака Богу молиться... Здесь, помнится, были случаи, когда люди в голодные обмороки падали. Но чтобы так...

Канин хотел спросить что-то ещё на эту же тему, но спросил совсем о другом:

– Как теперь мне выбираться-то отсюда в город?

– Да никак, на такси только. Или, может, к паломникам в автобус впишетесь. Но это вряд ли, у них там всё битком. А вообще, знаете что? Если подождёте, хотите, я вас довезу? Мне в Хлебниково потом, всё равно через город ехать. Только с монахом с этим тоже надо поговорить сначала. Но это недолго.

– Хорошо, я подожду.

Постышев и монах и вправду недолго разговаривали, не больше десяти минут. Потом следователь зашёл в церковь, надо думать, забрать протокол, а выйдя, пошёл заводить машину. Канин последовал за ним.

Ехали быстро, ехали молча. До гостиницы Постышев Канина не довёз (ему надо было ехать в другую сторону) и высадил в паре кварталов от неё.

Но в гостиницу доктор Канин сразу и не пошёл. Он решил дойти до больницы, благо, было недалеко. Зачем? Нет, не проведать (да и не пустят к такому больному), а скорее, просто узнать что да как. А может, ещё и просто прогуляться. Вечер был тёплый, приятный.

В больнице его визиту несколько удивились. Зато доктор Канин ничего нового для себя не узнал. Да, доставлен, осмотрен, в экстренном порядке взят в операционную, скоро, наверное, уже закончат.

...Сидя у входа в оперблок, доктор Канин подумал, что так глупо он себя, наверное, никогда не чувствовал. Что он спросит у хирурга? Как прошла операция? Будет ли жить? Ерунда, ей-богу, ерунда...

...«Скоро» растянулось на добрых полтора часа. Когда же двери наконец открылись и хирург вышел в коридор, доктор Канин подскочил со скамейки, где сидел, потому что, как ему показалось, он понял, о чём он хочет его спросить...

Но тотчас же сел на место, потому что по одному угрюмо-усталому выражению лица, показавшегося из-под снятой маски, доктор Канин понял, что уже всё кончено.

Доктор Канин шёл в гостиницу. Если бы у него в тот момент спросили, о чём он думал, он бы, вероятно, ничего не ответил. Вместо мыслей в голове была какая-то несуразица, каша. Пост. Молитва. Страстная пятница. Молитва. Служба. Тишина. Нечистый. Нечистый?.. Шум. Опять тишина. Облака. Небо. Снова тишина. А потом пришла и вовсе странная мысль: что все те люди, которые были там, в церкви, будут помнить об этом случае? О чём расскажут знакомым?

И лишь час или два спустя в номере его посетила очень простая, но оттого не менее удивительная мысль: окажись вдруг он когда-нибудь на месте этого человека и уйди тогда со службы – ему было бы очень стыдно. Доктор Канин поморщился от осознания этого явно неудобного факта, рука потянулась в карман брюк за давно не существующими там сигаретами, а когда сигарет не нашлось, ноги сами, как-то против его воли встали и подвели его к окну.

Солнце садилось в тучу. Над тучей плыли всё те же перистые облака, только окрашенные в багряный цвет.

...Хоронили на другой день под вечер. Хоронили у самого дальнего угла городского кладбища, у самой железной дороги, среди безымянных могил.

Подморозило. Снег, чёрный апрельский снег на ярком солнце снова блестел, как зимой, и неприятно похрустывал под переминающимися от долгого стояния ногами.

Панихиду служил иеромонах Анастасий, в ризе и епитрахили. Доктор Канин молча стоял за его спиной и слушал. Рядом с ним, плечом к плечу, стоял Постышев и тоже молчал. Ещё где-то в стороне курили двое могильщиков, и больше на кладбище никого не было.

В какой-то момент следователь, который был повыше ростом, наклонился к Канину и доверительным тоном прошептал:

– Ну, вот и всё. Исследование, слава Богу, быстро сделали, почему я и разрешил его хоронить. Теперь уже всё.

– Вы думаете? – таким же шёпотом ответил Канин.

– Конечно. А что теперь? Где он остановился, будем искать, но это уже мелочи.

– Вы так к этому относитесь? Вам его хотя бы не жалко?

Постышев отрицательно покачал головой.

– Конечно, не по-людски всё как-то вышло, кто же спорит. Но так... Знаете, сколько каждый год безымянными умирает? Всех не пожалеешь... – И после некоторой паузы, повторил: – Всех не пожалеешь. Да и потом, что здесь не так? Он похоронен с миром, как положено. Он наверняка бы сам этого хотел – почти как Христос, опять же, в Великую субботу. Тем более вот, – Постышев кивнул на иеромонаха Анастасия, – он благословение у настоятеля испрашивал на панихиду, он мне так сказал.

– Да, наверное, вы правы. Только всё равно нельзя так, не должно быть так. Ну, какой он «нечистый» или как это теперь будут вспоминать? Бред же это всё, всё же не так...

– Х-м, нечистый? – Постышев странно улыбнулся и, немного помолчав, добавил: – Хорошо сказано.

...Солнце уже клонилось к закату. Где-то вдалеке кричали птицы. И в небо поднималось торжественное и заунывное:

– Вечная память, вечная память, вечная память!..



**Виктор
БРЮХОВЕЦКИЙ**

РАННИЙ СВЕТ

Тихим светом наполнились окна,
Сумрак кошкой ползёт от двери,
Старый тополь, притихший и мокрый,
Греет листья в ладонях зари.

Первый луч пробежал по деревьям,
Глянул в окна и брызнул – в поля!
И ослабла на шее деревни
Горизонта тугая петля.

Рукомойник гремит. Пахнет мылом.
Слышен скрип дергача на лугу...
Вспоминаю: когда ж это было? –
И припомнить никак не могу.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Он зашумел сначала по верхам,
Потом деревьям вымочил колени,
И первые серебряные деньги
Рассыпал по зелёным лопухам.
Загоготала птица невпопад.
Петух забрякал шпорами и смылся,
Из-за ограды в небо ветер взвился
Пучком травы и рухнул в палисад.
И началось!
Разорванный, кривой,
Он закружил, вскипая тёмной силой,
И все дома в селе перекосило;
Журавль деревянной головой
Задёргался, и цепь загрохотала.
Ударил гром – и всё нездешним стало!
И от удара встало на дыбы,

-
- Виктор Васильевич Брюховецкий родился в 1945 году в г. Алейске Алтайского края. Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения в 1974 году. Работал инженером в Институте прикладной химии. Автор многих поэтических книг. Лауреат Международной Пушкинской премии. Член Союза писателей. Живёт в пос. Кузьмолово Ленинградской области.

И даже телеграфные столбы –
Прямые – на мгновение покривели...

И захлебнулся небом водосток!
Минуту... пять...
И осветлел восток,
Петух поёт, и ласточки запели!
И вышли мы смотреть, как за селом
Летала туча с белым помелом.

ПАМЯТИ БРАТА

За широкою рекою, на той стороне,
Где в глубоком колодце созвездья таились,
Где дышали нектаром, жужжали, роились –
Ты был главным из главных в медовой стране.

Эти улы, пропахшие колосом ржи!
Эта жёлтая тёртая охра густая!
И тянула пчела в две кручёных вожжи:
Тяжелее – пониже, повыше – пустая.

Заскучаю, приду: «Эй, на том берегу!»
Мне паромщик ответит: «Давай, коль охота...»
И седой, что Харон с пожелтевшего фото,
Он меня переправит за горсть табаку.

Я к тебе поднимался и ставил... не сок.
– О, братан... – говорил ты и нёс помидоры.
И звенело стекло, и текли разговоры
Золотым янтарём в золотой туюсок...

Нарезая для сбруй сыромятные кожи,
Мы курили с тобою вергун – не дукат,
И смотрели в четыре зрачка на закат,
И не знали, что всё это кончиться может.

По трубе узнают, что опара в дому
Подошла и хозяйка дрова запалила.
И петух на коньке закрутился в дыму,
И берёза по плечи листву заголила,
Осветив палисад...
– Здравствуй, день, – говорю.
Сыплю птице корма, обметаю ступени,
Наливаю воды и смотрю, и смотрю
На восход, на подворье, на длинные тени,
Что от клёнов-берёз разбежались в луга...
Как всё это до боли красиво и просто:
И петух на коньке, и дрова, и слега,
И седая дворняга щенячьего роста,

Да и сам я..
 Откуда всё это взялось?
 Говорят, что из взрыва какого-то... ада..
 Но ведь как хорошо улеглось-утряслось!
 Вот смотрю и не верю, что всё это – правда.

УТРО

Ранний свет. Откину полог –
 Брызнет золотом восток.
 Шмель – мохнатый спелеолог –
 Лезет в тыквенный цветок.

Зреют дынь тугие слитки.
 Слышен перепела бой.
 Конь пасётся у калитки,
 Мокрой шлёпает губой.

Запевает гулко улей.
 Мёд и яд. Одно окно.
 Золотой жужжащей пулей
 Очарован я давно.

Жизнь мудра. Разгадка рядом.
 До чего же прост ответ.
 Соты с мёдом..
 Пчёлы с ядом..
 А без яду мёда нет.

Босиком, в одной рубашке
 Вышел из дверей..
 Мне – что ямб, что амфибрахий –
 Все одно – хорей.

Я шныряю в огороде,
 Огурцы жую.
 Между грядок дева бродит.
 В сторону мою

Не глядит. Не замечает.
 С дудочкой в руке –
 То подсолнух покачает,
 То шмеля в цветке.

Плети трогает руками.
 Полет повитель..
 Что за дева? Кто такая?
 Для чего свирель?..

Этот стих – словно серый бревенчатый дом,
Где и ставень кривой, и труба косовата,
Где лежит за стеклом прошлогодняя вата
И к двери через грязь проберёшься с трудом.

Вот беда. Неужели здесь кто-то живой?
Я читаю строку – открываются двери:
Жёлтый свет фитиля, сухари на фанере,
Вязка луку и сетка с целебной травой.

Сквознячок. В поддувале мерцает зола.
Занавески оборваны. Ржавые вилы..
Кто здесь жил? Кто дышал тленом этой могилы?..
Пустота... Лишь за печкой колеблется мгла

Да в окладе серебряном некто двоится,
Наблюдая откуда-то издалека,
Как на окна крылатая живность садится,
Цепенея от взгляда креста-паука...

Прочно в матицу вбит чёрный зуб бороны,
На обрывке пеньки муравьи шевелятся.
В мире нету, конечно, угрюмей страны,
И подумалось: «Правильно, если бояться».

Потому как стоим на крылах да на лапах!
Омута будоража седьмым плавником,
Вон раскинулись как на восток и на запад,
Вдоль зубчатой стены грохоча каблуком!..

Выхожу... Сквозь высоких небес решето
Солнце золото льёт, травы спелые гнуты.
Что мне стих?.. Но душа норовит оглянуться,
Видно, что-то ей там померещилось.
Что?

УЛЫБНУСЬ Я ИЛИ ЗАГРУЩУ...

1

Постоял, подумал, подышал,
Тронул ветку яблони – и вроде
Растворился музыкой в природе.
Тела нет.
Осталась лишь душа.

Вся раскрыта.
Вся обнажена...
Бредит космос тайными мирами.

Облака кочуют над горами,
А над ними влажная луна.

Сад набух росой. Деревня спит.
Дремлет за околицей дорога.
Тишина...
Ещё чуть-чуть, немного –
Каплю! –
И душа заговорит.

Улыбнусь я или загрущу –
Чувство будет искренне и ново...
Первое бы мне услышать слово,
Остальные я не пропущу!

2

Настрадаюсь до поры,
Но когда себя открою
И услышу, как миры
Шелестят над головою, –
Отложу перо-копье
И увижу на распутье:
«Мир огромен! Не забудьте.
Только каждому своё...»
Подниму перо я снова
С крепкой верою в одно:
Чем в строке спокойней слово,
Тем прекраснее оно.

3

Высоко в горах туман.
Облака клубятся выше...
Я впервые в жизни вижу,
Как бушует Океан.

Вот он, свой смиряя бег,
Бьёт в гранит тугой волною
И дымится под скалою.
И вот так – который век!

Верность берегу хранит.
То спокоен,
То бунтует...
И настойчиво шлифует
Неподатливый гранит.

Я столько разбросал камней...

Рассеивая мрак и отрясая лист,
Морозцем первым выстелив дорогу,
Приходит срок.
Я обращаюсь к Богу
И говорю, что я душою чист.
Смотри, Господь, дела мои негромки,
Я понимаю, как непрочна нить,
И я прошу Тебя повременить:
Дай мне дойти до той конечной кромки,
Где, ощущая время за плечами,
Прозрел бы я и начал собирать,
И, собирая, столько взял печали,
Чтобы не страшно было умирать.

И, догорев, зажав свечу в горсти,
Отправлюсь я по новому пути
Сквозь лабиринты тьмы, о чём пророки
Вещали мне и говорили: верь,
Настанет час – и распахнётся дверь,
И свет сойдёт, и сбудутся все сроки.

О, мой пророк! Вещун и чародей...
Идея эта праведных людей
Ведёт сквозь жизнь от самого порога.
И я там был и выслушал не раз
Свой приговор с выкальivanьем глаз
Моих за то, что зрю и вижу много.

Крестьянский сын, потомственный кулак,
Я начал петь, зажав себя в кулак.
Покинув край пшениц и чернозёма,
Теперь живу вблизи чужой реки,
Бездарно тратя дни и каблуки
И создавая то, что невесома.

Не потому ли кажется порой
Мне жизнь моя никчемною игрой,
Где всё вокруг оглохло и ослепло,
Где, уступая вечности игру,
Я догораю свечкой на ветру,
Потомкам оставляя горстку пепла.

Презренный прах... Но всё же иногда,
Оглядывая прошлые года,
Я думаю: хватило же отваги
Мне твёрдо верить столько лет подряд
Той истине, что мысли не горят,
Когда их обозначишь на бумаге.

В небе коршун высокий, скирда на подворье,
На заборе качается хмель во хмелю,
Крепко меченный оспой корявой и корью,
Я картошку печёную крупно солю.

Солнце вязнет в кустах. Переполнены кадки.
Стриж застыл на лету и повис в проводах
Нотным чёрным крючком. Наш сосед на трёхрядке
Не спеша подбирает лады на ладах.

Что за новая песня, о чём и откуда?
Как он звуки стыкует и вяжет слова?
Всё яснее мотив, все доступнее чудо,
Всё светлей и печальней моя голова.

Я не знаю ещё, что запомню всё это
На всю жизнь, навсегда, до известной реки...
Дышит мёдом высокое жаркое лето,
О прошедшей войне говорят мужики.

Кони, звякая сталью, идут с водопою,
Золотою свечою стоит благодать,
И любая мечта, и желание любое –
Все исполнится, только успевай загадать.



**Василий
КИЛЯКОВ**

НЕУГОМОННЫЙ

– Степанида, подавай на стол!

– Поспеешь, не помрешь! – отрезала Степанида. –
Поросёнок визжит, прежде его покормлю.

За дверью, в сенцах, месячный поросёнок-молочник заходился визгом.

Грубо навалившись локтями на стол, старик задумался о работе, о кузнице. Времена пришли поганые, такие поганые, что на исходе сил пришлось вспомнить забытое ремесло, на исходе жизни и сил открыть кустарную кузню, вспоминать навык работы с покойным отцом. Отыскал он в бане, наверху, закинутый и забытый мех, отыскал молотки. Вот помощника бы ещё... Какой из неё, бабы, помощник? Он покосился на жену: «Вона, пожрать и то не дождёшься...» Глаза его, мутно-серые, слезятся. Руки страшны иссиня-чёрными буграми вен с припухшими ревматическими суставами.

– Скоро? – вновь спросил Данила.

Привычно работая ухватом в печи, бабка Степанида, потная, суровая, с подтыками длинной юбки у пояса, не удержалась, завелась:

– Ай горит? Да провались она в тартарары, твоя кузня! Она нам не кормилица!

Каких только слов не наслушался Данила от жены за долгую совместную жизнь, но то, что он услышал в эту минуту, резануло по сердцу бритвой:

– Не кор-ми-ли-ца? Ишь, что сбрехала, чертова баба!

Степанида и бровью не повела: выпрямилась, одёрнула подол синей ситцевой юбки, зло и отдельно выпалила:

– Истинно так! Работаем от зари до зари, а куска хлеба в доме нет!

– Кругом сыр-бор, всю Русь-матушку растащили, а ей только чрево набить! Хлеб-то нам не довели из Цен-

-
- Василий Васильевич Кияков родился в 1960 году в г. Кирове. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Юность», «Октябрь», «Литературная учёба», «Подъём», в газете «Литературная Россия». Член Союза писателей России. Живёт в городе Электросталь Московской области.

тральной с элеватора – да, может, прямо в войско, в Чечню и пошёл, нашим детишкам увезли. Надо их обуть-одеть. Прокормить. А?

– На! – Степанида со стуком поставила на стол большую разлатую глиняную тарелку «толчка» – мятой картошки. – Ты бы не пускал детей на войну, ай им там место? Робили бы во дворе, косили цветошник бы да сенца, сажали картошку...

«Бессолая, как трава», – тихо самому себе мысленно говорил Данила, перекосив губы и обжигаясь. Не обращая внимания на еду, он невольно стал думать о Чечне, о сыновьях – Ваньке и Петьке, ушедших по контракту. Голодно, поди, им там. Но больше всего терзался кузнец воспоминаниями о дочке Маше. Помнилось ему: работает он в слесарке в хорошие времена на станке. Станок токарно-винторезный визжит резцом, гонит стружку, которая из серебристой становится чёрной на глазах, остывая. Вдруг крикнут ему, тронут за плечо. Он снимет очки – и вот она, Машутка, тут и есть – пришла с обедом. Суп в горшке, каша с маслом в большой железной миске, как и сам он носил отцу в далёкие прифронтовые времена. Подойдёт, бывало, поцелует в небритое лицо и пропоёт.. Ишь, то-то уж и сорока была: сядет и всё щебечет, всё щебечет. Вспомнил – и душа обмякла, лицо расплылось в улыбку.

– Пошто ощерился-то? Или деревянный рубь увидал под столом? – сострила Степанида.

Данила пропустил эти слова мимо ушей: он в этот миг слышал голосок любимой дочери.

Степанида, открыв дверь в сени, остановилась у корыта рядом с чавкающим поросёнком. Розовый луч дневного солнца выглянул из-под обрешётника крыши и вытянулся во все сенцы, дальше в избу, лёг пятном на худые рёбра поросёнка. Запустив морду до глаз в долблёное корыто, молочник цедил жижу сквозь зубы, ловил картошку на дне. Вдруг он приподнял морду, посмотрел прямо перед собой и ковырнул пятаком корыто. Помои выплеснулись на босые ноги Степаниды.

Данило зло посмотрел в сени, бросил ложку на стол:

– Глупая скотина! Опрокинул корыто и собирает с пола.

Старуха поддала ухватом поросёнку. Тот, взвизгнув, отскочил как мяч.

– Наелся ай нет? – спросила она мужа.

– Наисся тут с вами, – буркнул Данила. – Свинья да баба – дурей, видно, ничего Бог и придумать не мог.

– Сам-то хорош, – обиделась Степанида, – ишь, брови-то пованесил, ровно кот на сметану.

Данила, тяжело вздохнув, вылез из-за стола, снял с полатей картуз и, глухо хлопнув им по привычке о ладонь, надел козырьком назад, окликнул:

– Пошли, в кузню пора!

Сложив багровые губы, с тяжкой думой шмыгает Степанида. Ноги мосластые, кривые, с синими вздутыми венами на икрах, с подагрическими шишками, насквозь протёршими обрезанные чуни.

– Ить вот лаисся ты на меня, а помру – небось, выть будешь? – хитро прищурившись, спрашивает Данила.

Старуха отмахивается:

– По ком плакать-то, кожа да кости. В чём душа держится, хоть сейчас ополосни – да и в гроб. В могилу и то краше кладут, одна неугомонность осталась.

Иногда она и впрямь силилась представить себе жизнь без супруга, но так ничего и не видела. Данила казался вечным, и если кому и уходить, то ясно, что ей.

Новая «Нива» председателя пропылила между палисадником и ремонтными мастерскими, от которых остались одни развалины. Старуха решительно направилась к нему.

– Ты старика-то моего в гроб, что ли, загнать хочешь, нехристь! Он еле ноги таскает, ишь ты, с кузней затеял – и в сторону. У него работы прорва, а деньги-то кой-какие положил, да и тех не видим.

– Дадим, дадим, бабка! Не деньгами – так вот отсеемся, пшеницей, натурой отдам. Время, сами знаете, хуже войны. Загнали село, запарили: бензин, корма, электричество – всё в гору. Хлеб – по закупке всё дешевле, спекулянты... Нарочно валят, под корень секут. Нынче в договор вошёл: никак не меньше, чем семь тысяч за тонну. Не сдержим слово – конец нам...

– В газетах-то что печатают, скоро кончится бардак-то? А Чечня – угомонили там их или нет?

– Не скоро ещё, отец, – отвечал председатель, перемежая слова с одышкой, со вздохами крупного своего тела и уводя разговор в сторону от насущных проблем. – Так вот, эти бандиты там, в этой Чечне, взрывают фугасы, горла режут солдатикам...

– И нужна нам она, эта Ичкерия, пропади она пропадом, ай своей земли мало? Своей-то не обходим, бросили, жрать нечего. А и та, что осталась у них, – гориста, хлебушек не родит.

– Там нефть, батя. Чёрное золото. Джихад весь мир завоевать хочет, – кратко и просто пояснил председатель.

– Ну-у? – удивился Данила. – Такая козявочка – весь мир?

– У них – вера, батя, а у нас...

И Даниле представилось большое поле, ровное и сплошь в хлебах. Бородатый чечен в образе и подобии плакатного врага времён Второй мировой войны: рукава засучены по локоть, сам – с автоматом и фугасом через плечо, как, бывало, видел он в новостях по телевизору.

– Что с них выйдет, а, старуха?

– Из кого?

– Да вот, из детишек-то... Сироты при живых родителях...

Увидев кузнеца, ребятишки бежали издалека позабавиться. Один кинулся вприсядку, выпевал чумазый:

– «Ой, Данила, дед Данила, тебя бабка заморила!»

– Брысь, безотцовщина, зауглы окаянные! Ай он вам ровесник? – вскинулась Степанида.

Данила со смехом понужал:

– Этак, этак, а дальше? Заморила, заморила! Её грех...

– «Куз-нец-молодец. Вся моя отрада!»

...От дороги вдоль выгона, чуть влево и вперёд, – и вот она тут и есть, «кузня-кормилица», присела у глубокого оврага. Серо-седая,

как старая и добрая мать. С покосившимся одним-единственным окном. А вокруг старые розвальни, ломаные плуги, рессоры, динамо от трактора – всё ржавое, гнилое, в земле заросшее с бурьяном вперемешку.

– Ждут, – говорит Данила, подходя к кузне, – всё ждёт хозяина...

На крыльце кузни сидели-распивали трое мужиков – один другого угрюмей, все в обносках. Воняло кислым, давно не мытым.

– Посмотрю я на вас, мужики: ровно через молотилку пропущены – излом да вывих. В город на заработки – и то не годитесь: сеете плохо, с плугов да телег все гайки порастеряли. Ребятишек-то, поди, и тех – не моёте, а? Или недосуг, не до ребятишек? Бабы-то ваши всё телевизор смотрят?

– Не выключают. Им не до нас, а нам не до них.

– А нам ещё лучше... А работать когда: с утра выпил – день свободен...

– Работа – она не кой-там что, постоять может.

Данила щёлкает выключателем, отворяет настежь дверь кузницы, командует с озорством:

– Стёшка, дуй!

Степанида, набросав лучинок, зажигает охотничьим серником грудку древесного угля, налегая на ручку, на меха, раздувая фиолетовое пламя, тоже балагурит в тон мужу:

– Данила, куй!

Пыль кипит-волнуется в узких лучах солнца. Застоявшийся запах пара, гари, древесного угля возбуждал в душе кузнеца необъяснимое чувство радости, гордости: что надо быть человеком, оставаться человеком до конца. И пока Степанида раздувает пламя горна, греет он заготовки. Данила готовил инструмент основательно, осматривал молоток, наковальню.

Все заботило Данилу в кузнице: и покосившееся окно, и износившаяся наковальня, и худая крыша. Берёт клещи – думает: «Ивановы». Смотрит на зубило: «Петька подарил». Приедут сыновья – можно и на покой уходить.

Бывало, возьмутся сыновья за заготовку и так горячо, рьяно жарят по ней кувалдой! Данила, сдерживая гнев, учил:

– Бей тонко, с отяжкой, пяточкой. Чувствуй силу удара – от этого и прочность поковки.

А если закурят, так загремит:

– Два дела делаешь? Или курить или работать! Только запори мне изделие!

– Чо ты, батя, кипятишься? На твой век железок хватит. Ну испортим, так и что ж?

– Хватит? Сколько людей потело над рудой, железо из неё выводили! Эх, Пётра, Пётра... – сокрушался Данила.

Теперь Пётр награждён медалью «За отвагу», вырезку присылал из газеты – фотография в ней: «Награждён!» Кузнец стоял у наковальни, вспоминал о детях, мысленно ругал себя за грубость. «Может, уж нет в живых Петра-то, – с горечью думалось. – Иван и Машутка живут. А Пётр как в воду канул...»

Кузнец засуетился, схватил клещами заготовку, налитую соломенным блеском, – и ну жарить по ней молотком. Золотая окалина пор-

хает, жжёт фартук. Изредка остановится, шоркнет рукавом по потному лбу и снова за работу.

– Не спеши. Отдохни чуток, – говорит ему Степанида, – пошто торопишься, успеешь...

Проковав все заготовки, Данила кладёт на наковальню клещи и садится рядышком с женой. Степанида, раскинув юбки, сидит, широко расставив ноги в рваных калошах, смотрит на разбитые сапоги Данилы и думает: «Чем кормить старика в обед? Пшёнка да мука. Да вот ещё – картошка. Утром картошку не съел...»

К обеду Степанида выпросила-таки у соседки маслица да яиц. Замесила пирог-стародум без дрожжей на ужин. Налила щей из молодой крапивы.

Ели молча зелёные щи, и бабка всё вздыхала, поглядывала жалостливо на Данилу. Ел он плохо, всё откладывал ложку в сторону.

– Вздремни часок-другой, – уговаривала, убирая посуду со стола. – Весенний день долог, успеем.

– Идти надо, – отвечал Данила, хотя полежать ему хотелось: ломило поясницу, ныло сердце. – Обещал к вечеру отковать две ости.

– Успеешь. У них всё срочно... – ворчала старуха.

– Да ведь не для них ости-то – для России!

Старуха фыркнула в уголок платка.

– Нужны ей твои ости-то, России-то, ржавые железки?! Совсем ты, старик, одурел от телевизора-то.

– Глупая ты старуха, – обиделся Данила. – Без железок ни плуга, ни бороны не изладишь. А не изладишь – насидишься без хлеба. Помнишь, ещё по молодости-то плакат висел в конторе: «Не только штык, но и колос врага колет».

– И-и, вспомнил! От нынешних-то врагов – ни колос, ни штык не спасёт, не-э-т...

Жарко, душно в избе. От горячих щей, от слабости кузнеца бросало то в холодный пот, то в жар. Он с трудом открыл окошко. Потянуло прохладой, ветерок освежил грудь и лицо. Ещё больше захотелось прилечь, завести глаза.

– Пора, – пересиливая боль в пояснице, торопил Данила.

И опять потянулись они вдоль развалившейся череды домов к кормилище-кузне.

Вечером село окутал мутно-серый рыхлый туман, в кузнице стало темно. Степанида вылила остатки грязного керосина в допотопную лампу с треснувшим пузырьком: вот уж с зимы – потёмки, с заговенья бродяги снимали на металлолом алюминиевые провода. Трансформатор не гудит теперь, как бывало раньше – издали слышно.

– Ну, я пойду. Приготовлю ужин. И ты не задерживайся тут.

– Иди. Уберусь и приду.

– Посуду чинить будешь?

– Нынче не придут. Поздно.

– Ты бы хоть керосином с них брал. Или хлебом.

– Я, что ли? – сурово переспрашивал Данила. – Они вон откуда едут – из соседних сёл. Новое купить не на что, оттого и несут в починку.

– А то что же даром-то? Даром и чирей не садится. Сказано: сухая ложка рот дерёт.

– Не раздерёт!

– Ну, околачивай руки-то задарма, околачивай! Они и так у тебя ровно у лешего.

Часто вечерами приходили женщины из окрестных сёл: кто чайник принесёт – отлетела ручка, кто – кастрюлю – дно запаять, кто – подойник – долой ушко. «В сельмаге не укупишь», «Пенсию из района не дождёшься»... Вот и ходили в кузницу. Данила отказать не мог, не умел. Вот и сейчас, только что ушла Степанида – словно ожидавшая её ухода, тотчас нагрянула Пелагея со сковородником. Данила уже собирался, смахивал окалину с наковальни, складывал инструмент.

– Митрофаныч, суйстрой, милай! – запела вдова. – Как без рук осталась. Горячую сковородку руками-то не возьмёшь из печи.

– Знамо, не возьмёшь. Что бы ты пораньше-то?

– Как?

– Завтра приходи...

– На работе пласталась, бороновали.

– Придётся покупать новый. Этот – шабаш, зев выгорел...

– Мила-ай...

И Данила греет заготовку, Пелагея помогает, подкладывает уголёк. Украдкой выставляет бутылку самогона. Данила не видит бутылки. Упрямо не видит.

Истолковывая это по-своему, вдова опять поёт:

– Я тебе, Митрофаныч, утром хлебца принесу – свежего, свойского, без подмеса – за твою работу...

– Не надо, у меня есть. Ты племяшей своих корми. Тюрю с молоком совастожь им – сытно. Они у тебя вон какие частушки складывают, ровно артисты!

Поздним вечером Данила закрыл кузницу, часто и нелегко дыша. Самогон замолаживал, разгонял кровь, словно возвращал юность. Тёплый майский ветер дул порывами. Где-то брехали собаки, квакали лягушки в овраге за кузней. И в этом кваканье старику чудилась отчаянная и беспощадная, как у людей, жизнь.

В середине села на брёвнах играл кто-то на баяне. Тосковал в любовной истоме, терзал клавиши. Одинокó играл. И не подпевали ему девки, как это было прежде, как встарь, всё об одном, всё о том же.

Кузнец любил музыку, гармонь волновала сердце воспоминаниями о былом, об ушедшем. Подошёл к гармонисту, приложил к уху ладонь, гармонист кивнул. Данила глухо топнул сапогом и, снимая под лихой заигрыш с себя пиджак, сделал выход и прошёлся. Потом смело кинулся в пляску, как в омут.

*Тягька кузницу суйстроил,
Я кую, кую, кую...
Шестьдесят четыфе пуда
Поднимаю...*

Пел он, работая ногами, и, теряя последние силы, задыхаясь, закончил:

*Ах ты, милочка моя,
Сорока белобокая,
Раньше я к тебе ходил,
Теперь – гога высокая...*

Степанида отстряпалась, на поиски пустилась. Она искала неугомонного долго. Ходила в кузницу, заглядывала и в сарай кузницы, даже на скотный ходила и не выдержала:

– Как провалился!

И вдруг услышала его голос и глухой крепкий топот, заголосила, завыла, подходя к зевакам, как по покойнику:

– Окаянный, неугомонный! Данила, Данила! – Рванула она за рубаху.

Притворяясь пьяным и потешно отбиваясь от жены под общий смех соседей, он поддался на её уговоры. Шли под руку, Данилу гнуло и клонило.

– До ста лет жить хочца, Стёша, – говорил он. – И вот думал: молод ещё, повеселю народ, ан нет. Прошло времечко...

И всю ночь тяжело спал старик, с полуоткрытыми глазами, как мёртвый. Степанида вставала в ночи, не зажигая свет в светлую весеннюю ночь, спрашивала, заглядывая в бледно-синее лицо мужа:

– Сердце болит, Данилушка?

Утром два выстрела, один за другим, взбудрили тишину деревни: ударили, эхом отозвались, догнали друг друга, встретились и сплелись. Кольцом сошлось эхо и умерло вдали четырежды.

– Эка штука! – сказал, привставая и вслушиваясь, наваливаясь на подоконник грудью, Данила. – Глянь-ка, стреляют, никак – охота.

– На кого? – насторожилась старуха.

– Вот, бог знает, кто и есть: для уток – поздно, май уже. Да и на тетерева поздно. Уж не городские ли?

– Городские и есть, наши давно не палят, не на что баловаться, на хлеб не хватает.

На горизонте повис столб: густо и плотно шёл-поднимался шлейф пыли, словно гарь за подбитым самолётом, вздымалась пыль вверх, обозначая путь горбатой иномарки, заволакивала дали, медленно ползла под угор. Грозный клаксон причудливым звуком оглашал окрестность. Клаксону вторила визгливая музыка, упруго била она в динамики «ланд-ровера», вытряхивалась на улицу. Глухо и непривычно трещало в том сплетении звуков банджо, перемежаясь с чехардой перестуков непонятного инструмента, словно палкой по забору или по стиральной доске.

– Ух, открой, Валера, открой окно! Душа воли просит! «Вот моя деревня, вот мой дом родной...»

– Деревня – это да, красавица! А в курицу ты с двух раз не попал. Шефу скажу, пусть в тираж тебя спишет: слепой.

– В тираж? Да где он такого найдёт?..

Мелко семена, удирали из-под колёс куры, поспешали в сады, пролезали сквозь кольца частокола – едва могли отыскать прогал. Чья-то собака бросилась сдуру под колёса, да вовремя отскочила.

– Эх, гляди, чудо-то!

Телёнок на длинной верёвке долго и неподвижно смотрел на машину, пережёвывая траву, и так же внезапно, потеряв интерес, отбежав на длину верёвки, дёрнул так, что едва не вырвал вбитый в землю кол.

Охранник, по-своему поняв намёк, ткнув локтем в бок водителю, захохотал и замахал в окно пистолетом.

– Кончай шмалять, всю деревню поднял, – окоротил шофёр друга, – лучше подсказывай, как и куда.

– Давай, давай, ямки, давай, Валера!

Коротко стриженный и губастый охранник – «телок», с жирной грудью, сдавленной узкими бретельками чёрной стильной майки, с мотающейся поверх кобуры, свистал, хохотал, подстукивал от нетерпения и топал в такт музыке. В открытое окно гнало дым сигары шофёра.

Машину в засохшей глине по колее валяло то в одну, то в другую сторону. Колея держала каменно.

– Против колодца сверни. Пятистенок рубленый, рули под тополь. Туда, туда. Приехали.

Грудастый охранник, предвкушая радость встречи, выдавил в рот душистую конфету из цветной коробки. Рыжий водитель затормозил, выдохнул дымом. Выщелкнул сигаретку из окна. Подъехали бойко, качнуло от тормозов. Посидели, пока уходила прочь и опадала, обгоняя машину, дорожная пыль. И всё долбила и долбила в динамики, не переставая, сумасшедшая музыка, мягко и громко ударяя в акустические колонки, словно примеряясь к обстоятельствам. Приехавшие едва слышали друг друга, общались знаками. Как немые: всё трещало, жило, играло и разговаривало. Мягкие сиденья из кожи не могли погасить напор звука. Саксофон вёл партию, банджо вторило, то догоняя, то отставая, чеканил упрямый ударник.

– Ну и дичь тут!.. Вот она где была бы – охота! А ты спрашивал, где?

– Не попал в курицу с двух раз, охотник!

– Это ж тебе не «пм», а «ижак», а проще – «ишак». Менты выдумали и вооружили «ЧОПы», четверть прицельной и поражающей силы..

Дед Данило привстал, выглядывая в окно на подъехавшую иномарку: чудней и шикарней автомобиля он не видывал. Степанида испуганно растолкала створки окна и тут же, заохав, мелко и часто крестясь, села на табурет.

– Ты что, бабка? – Данило всё никак не мог понять, что случилось. – Чего ты?

– Выдь-ка, выдь, старик. Гляди сам: или это Петро к нам?

Старик, сдвинув брови, пробирался через сенцы, пугаясь стука собственного сердца.

– Петя, ты как здесь? – выкрикнул он и сам поразился слабости сиплого своего голоса.

Он замер на крыльце, беззвучно разевая рот. Старуха глядела у окна из-под руки: сын Петро – косая сажень в плечах, чёрная майка на узких лопающихся бретельках, а по ней рисунок – белая обезьяна над штангой с изогнувшимся грифом и надпись не по-русски «Boss»... Вышел Петя, прихрамывая от долгого сидения, растирая затёкшие ноги.

– Не признаёшь, батя? Постарел... Ты это, прямо как капитан на мостике, ага...

– Мать, – сипло позвал Данила жалостливым голосом, – а, мать, это Петя? Он?

Взмахнув платком, стянутым с плеч, шагнула старуха со ступень крыльца и чуть не подвернула ногу.

– Ты чего, мать, чего воешь-то как по мёртвому? – Петро обнял её: – «Дорогие мои старики...»

– Пожалей её, пожалей, Петя, – узко и торопливо шагая-сходя по ступеням с крыльца, сипло просил Данила. – Плохая она, плохая совсем здоровьем-то, еле живая...

– А ты?

– Ну-у, я ещё нормально, в силах.

– А болезнь-то твоя вечная...

– Какая?

– Птичья, «перепил» – называется. Похмелиться-то не хочешь?

– Теперь другая болезнь, называется «дай поесть». Жрать нечего, голодуха по сёлам. У кого пенсии – ещё купят хлеб, если дети не пропьют их пенсии. А то заработать – негде, швах!

– Утощаю! – вскрывая бутылку шампанского, стреляя пробкой и пачкаясь белой пеной, весело кричал Валера-шофёр: – Утощаю! Пою и кормлю!

Петька обнял плачущую мать, правой рукой ухватил бутылку:

– Валера, разбирай, разбирай багаж! Провиант – в горницу, скарб – в сени! Так, батя? А вот это, Валера, он – мой батя. Отец, это – Валера Вихров собственной персоной. И шофёр, и помощник в одном лице – и мой, и шефа моего. Лучший шофёр всех времён и народов, да! И Москвы, и всех её окрестностей... Валера, неси всё в дом! А виски осталось у нас там? Ночуем в хате на пуховике. Можно и выпить от души. Три дня гудим как флюгера: у-у-у...

– Там, в багажнике.

– Ты стакан тащи свой, большой, «семиглоточный». В маленький-то у него, Валера, нос не лезет. Только большой. Да чтоб с горкой. «Всклень» называется. Чего стоишь да головой трясешь, отец, счастью своему не веришь?

Жёлтый, как утренняя моча, виски, плеснули в два стакана отец и сын.

– Валера, а ты?

– Я не бу-у.

– А мы будем. Будем, отец?!

– Будем. А закусить?

– Вот, батя, пахлава, бери. Коржик сладенький с толчёным орешком. Восточная сладость.

– Ну и выпить ты нашёл, Петро, хуже самогона! Под него бы... грибки солёные.

– А есть? В погребе?

– Мать, дай фонарь, фонарь мой где-то немецкий, я в погребок нырну за грибочками, я мигом. И сметанки... Стой, стой, Валера. Вот гляди, какие дела. Ты городской, тебе не понять, а я давно изумляюсь... Вот гляди, видишь: церковь шатровая, золотые купола. Каменная. Русский крестьянин в лаптях ходил, а купола позолотил. И люди жили, те крестьяне, что строили её из камня самородного – у этих людей крыши изб камышом были крыты. Слышишь, Валера, не жестью и не ондулином – камышом. Не веришь? Я ещё застал... Мам, как так нет фонаря, а где же он?

– А она его, Петя, на печи оставила зимой. А печь протопили как следует, он и расплавился, батарейки поплыли, щёлок из них замылился.

– Мам, зачем же ты его на печь-то?

Яма амбара – холодное чрево сруба с бегающими мокрицами – встретила Петро недружелюбно. Подгнивший, рубленный в лапу сруб сложился гнутыми от старости и тяжести земли рваными брёвнами, угрожал падением. Заговорившие под его ногами ступени лестницы, запах мокрого смородинного и вишенного листа из кадки вмиг окунули его в детство. Петька с закружившейся головой присел. С удовольствием дышал он и вглядывался в полутьму. Промытая алкоголем душа с обострившимися чувствами ностальгировала. Было глухо, темно и беспокойно. Тайная весёлость трогала сердце. Лечь бы прямо вот здесь. Свернуться клубком по-собачьи, всё оставить-забыть. И шефа-охотника-коммерсанта, что, напившись пьян, отпустил в деревню погостить; и недостроенный дом из пеноблоков с неудачным фундаментом в Подмосковье, и всё-всё... Пришло на память, как сестра в детстве боялась лягушек, а он нарочно бросил лягушку в крынку здесь, в амбаре. Да и послал сестру за сливками. Лягушка плавала, не давала сливкам согреться. Машка, спустившись в амбар, вдруг завизжала как резаная. Братья хохотали. Подтрунивали: «Машка, где сливки? Перевернула?»

– Мать, а где же сливки к грибам? – вылезая наверх по певучим ступеням, крикнул Пётр, поднимая в ковше оранжевые солёные черныши в смородинной листве. – Ай съели?

– Какие сливки, сынок, коровы-то нет давно. Я косить не гожусь, отец тоже. Вон они, руки-то, не разгибаются. И у отца – артрит. Не руки, а крюки.

– Ставь багаж на крыльце, мальй! – сипел Данила.

– Валер, ставь тут, не суетись. На-ка, на пистолет-то, спрячь его в багажник, а то гости соберутся, перепугаем ещё чего доброго...

Данила как выпил, так тут и сел с пустым стаканом в руке. Сидел, двигал бровями, тяжело сопел от удовольствия.

– Прошла голова? Добавить, батя?

– Подожди, не гони коней... Пусть пожжёт. Петро, а я о тебе вчера сон сбредил. Зуб у меня будто бы выпал коренной. С кровью. Вот она и впрямь – кровь своя, родная: ты приехал.

– Ты бы раньше сбредил, старый. Хоть на годок один, – упрекнула Степанида с навернувшейся слезой.

Валера принёс опять. Разлили.

– Мать, а тебе?

– Ну её к лешему!

– Поехали... Гадость какая... Фу...

– Между первой и второй – промежуток небольшой.

– Три тысячи рябчиков бутылка, батя. А ты говоришь «гадость». «Блек Джабел». Во, читай...

– Что ты? – испугался Данила, даже жевать перестал. – Три тысячи? Это ж – полкоровы!

– Ну, за шесть тысяч никто коровы не продаст, хотя в вашей «очумеловке», шут его знает. Нищета тут такая, что, пожалуй, и продадут, а?

Валера поперхнулся, закусывая ветчиной, засмеялся, закашлялся. Ему услужливо застучали по спине, чтобы не подавился.

– Чёртово тырло! Дожди пойдут, гляди-ка, и на «джипе» не вылезешь... Вот откуда я родом, Валера. Как вспомнишь, так вздрогнешь, со стыда стораешь: из дикарей сиволапых. Уж ладно бы Германия или Дания, ну хотя бы – Рига, а то село Мукасево на речке Вобля.

– Речка хорошая, да. Щука опять пошла. А ты был там, в Германиях-то, сынок?

– «Был»! Не был, а жил. Недавно опять оттуда. Вот житуха – шик! И одежда, и люди умные – словом, другое измерение.

– Петя, а ты на сколько к нам? Поживёшь?

– Дня на два шеф отпустил. Как позвонит – надо отчаливать тем же часом. Он в охотохозяйстве, вёрст сто отсюда. Пока доедешь...

– Отпустил, значит?

– Он пьяный – добрый. Батина болезнь у него, «птичья». Вот боюсь, не заразная ли? Ты что, мать, плачешь, что ли?

– Столько годочков не был, и – на два дня?

Через полчаса вышли на крыльцо, заметно повеселевшие, сытые. С дымящимися сигаретами – чёрными тонкими и белыми.

– А хорошо тут у вас, батя, и, что главное, – тишина. И такая свежесть, даже сила откуда-то, как в детстве, кажется, воздуху наберу – и сейчас облака раздую, честное слово!

Вдали растянуло-растасило тучи. Солнце осветило прямо и просто, отверзло лазурную высокую чистоту, отразилось в чёрном бокастом, жуково-округлом «джипе», у крыльца в луже с утонувшей травой и куриным помётом.

– Зови гостей, мать!

Сдвинутые столы накрыли как на свадьбу – на улице.

– Во, мать, расставляй: пиво «специальное», а это дыни, режь, конфеты «третьяковка», колбаса, сыр «чардер»...

Гости собирались на новость: «Приехал Петро, да богатый... Объявился».

Выпили, скромно накладывали в тарелки картошки, потянули странную колбасу на вилках, сыр с крупными ноздрями. Тарелки у всех были важно полупусты, но только до третьей рюмки. Данила

пытался шутить, веселить гостей, загадывал старые забытые и оттого без решения загадки:

– А вот угадайте-ка: кто над нами вверх ногами?

Смотрели вверх, на телесно-величественные, нависшие над столами сучья тополя, на сквозившее синью небо в них, не могли догадаться – всё обычно, ничего такого загадочного.

– Что сырое не едят, а варёное выбрасывают?

И опять нависало лёгкое гостеприимное молчание.

– Лук, – подал голос кто-то.

– Тост... Тост...

– Это у нас директор Силкин, когда ещё косили в лугах и столовка там была, у парома. Ему щи принесли, официантка принесла, а он ей: «У тебя пальцы-то во щях». А она: «Ничего, они не горячие...»

– А-а, побрезговал. Небось теперь не побрезговал бы, когда развалили всё, да поздно...

– Это что же за машина, Петь?

Пётр, весело и грустно глядевший на собравшихся, насмешливо закинул голову.

– Которая, эта? Рабочая наша. Поди, и не видал такой? На охоту ездим. Ещё три разные, в офисе.

– А ты что же делаешь в этой машине? В офисе?

И Пётр сбивчиво и с явной насмешкой над глупостью деревенских стал объяснять, что он – инспектор по безопасности, а проще – личный охранник...

– Телок! – воскликнул кто-то, и все засмеялись.

– Это ты «телок», понял, а я – личный...

– Кто же на него нападает, на твоего «шефа», от кого ты его охраняешь? – близоруко щурясь от солнца и похватывая корявыми перстами лысеющую голову, всерьёз ничего не понимая, спросил Данила.

Матери не понравилось, как сын перемигнулся с водителем, оба засмеялись.

– От людей, батя, от народа лихого. Может, ты не слышал, в Москве на Рублёво-Успенском уже противотанковые рвы роют.

– Что ты? Кто же вступил-то в Москву? Не чеченец?

За столом засмеялись, но уже как-то сдержанней, невесело.

– А медаль-то за что же у тебя, тоже за охрану?

– Какая медаль?

– Вот, – оглядывая с гордостью гостей, мило улыбнулся Данило, – ай ты забыл? Та, что ты прислал, с фотографии.

– А-а, эта? У меня их много, медалей-то, там дома, в городе.

Данило с гордостью обвёл всех глазами, Степанида сложила губки.

– Ну, сынок, расскажи, как там было, на войне?

– На войне плохо, батя. Что тут расскажешь... – насыпая в рот солёные фисташки и запивая их пивом, рассказывал Пётр. – Жрать нечего. Даже тому, кто с медалями. Дело дрянь... Плесни ещё виски. Эй, эта бутылка пустая, «покойника» под стол! На столе пустой посуде не место – примета такая. Чтобы жизнь полней!

Шофёр, спохватившись, спустил порожнюю бутылку, поставил её на землю рядом с ножкой стола.

– Бать, а где же Витька Ступа, Володька Лихой?

Отец опустил голову:

– Нет никого.

По наступившей тишине застолья стало понятно: кто спился, кто потерялся в жизни. Нет детства и нет юности. Всё проходит..

– А всё-таки, кого ты охраняешь, если не секрет? Генерала? Чего отшучиваешься? Или в разведке? В госбезопасности?

– Круче бери. Генерального директора «ЗАО Термокор».

– Что же это за фамилия или должность такая? Кто же он, какой нации?

– Нашей, батя. Наверное, нашей. Не уточнял. Это как если бы ты предколхоза своего Силкина охранял, – несколько тушуясь за явную глупость отца, «нетолерантность» его, попробовал перевести всё в шутку Пётр. – Какая разница, какой он нации, твой Силкин, лишь бы платил хорошо, приплачивал, а? Или нет?

– Та-ак...

– Ты чего-то погрустнел, батя.

– От кого же мне его охранять, председателя моего?

– Так говорю: от злых людей. А больше того – от бедноты нынешней.

– От бедноты? А я – кто, а мать твоя? А ты сам? Или разбогател ты? Где ж твоё богатство?..

– Нет, но скоро разбогатею.

За столом приняли шутку, засмеялись, но как-то невесело, при-
нуждённо.

– А чего ж его охранять, ЗАО? Или он вор, или растратчик?

Петро с шофёром опять переглянулись, засмеялись:

– А то нет?! Ты ж посмотри, как вы живёте, посмотри сам, батя. И это – жизнь? Денег нет, деревни нет, поля не засажены. Мы вон откуда, от Бастаново ехали – всё пусто, шаром покати. На полях одни берёзки, да так густо, уж – и тот не проползёт. Только ты один: «кузня да кузня», ходишь как заведённый, мать – и та жалуется. После войны, поди-ка, так не было, а?

– После войны. После войны – так и было. Только лучше: вера была. Каждую весну цены снижали. Да ведь и теперь – война? Война, похоже, и не кончалась. Ты же вот воюешь, герой?!

– Воюю, батя. С дураками и патриотами, – шумно вдыхая, раздувая ноздри, с удовольствием подтвердил Пётр. – Воюю... То у хаты сижу всю ночь как собака, пока он с тёлками занимается. То у ресторана или казино жду его, «папу». Если выиграт, то по тыщёнке накинёт, а проиграет – станет нервы трепать: курить одну за другой, орать не по делу. Я уже издаю знаю: руки в карманах, орлом глядит – выиграл. Если запнулся по дороге или на лестнице – то хайся, добра не жди. Так что ль, Валера?

– А нам что – нас гребут, а мы крепчаем!

– Знаешь, батя, вот ты всё намекаешь, что мне сладко. Оно так и кажется, конечно. А я так тебе скажу: и он, и все, кто с ним, –

другой породы. Это раса кровососов. И я не только охранять, а сам задавил бы его, веришь – нет?.. Надоел. Это есть – вампир. Сам суди. День у меня начинается в пять утра. Квартиру снимаю в Подмоскowie, в Москве самой – дороже раза в три. Вот и езжу – на работу два с половиной, с работы столько же. Или живу в офисе его неделями. Он выкупил этот «офис», казённый. А знаешь, что это прежде было? Детский сад. У детей отнял, взятку дал, евроремонт сделал. Считает за своё. Пальцем, заметь, о палец – ни-ни, не ударил. А работа, знаешь, его в чём? Подряды московские перекушает на строительство – и перепродаёт. И ещё – в Газпром мотается. Всё. А нефть, газ – они его, что ли? Вот она, работа: в семь ноль-ноль получаю оружие, тут всё по-серьёзному. Три «подснежника» – рации-малышки такие. К девяти подача машины. Часа два-три я жду его, когда он выйдет соблаговолит. Звонить нельзя: разбудишь, что ты.. Везём в «офис»-детский сад. Там ежедневно – широкий стол. И вот наезжают. То из одной партии, то из другой. Конкретные люди. Только успевай вино подвозить. Потом – до четырех-пяти дня мотаемся по охотничьим магазинам Москвы, по друзьям его или по медицинским центрам. А впереди ещё ночь без сна и казино, рестораны. Один закроют – он в другой, в ночной. Однажды нищая подошла, «подай», а он: «Бей её...»

– И что, ты бил?

– ...Другой раз напился он с дружкой в ресторане и давай чёрной икрой с чайной ложки стрелять. Да и попал не тому. Опять я за него впрягаюсь...

– Нанялся – продался...

– Ему ничего, а меня – в обезьянник. С бомжами сидел сутки. Вонь, чуть живой. А он пришёл: «Что, не рад меня видеть?»

Шофёр Валера, глядя во все глаза на Петра, вдруг захохотал.

– А ты не знал? Пришёл – и хоть ручки ему целуй.

– Поп он, что ли? – Данила незаметно плюнул в ладонь колбасу сырокопчёную, сбросил под стол. – И ты что, на его деньги этот харч купил? Неужто ручку целовал?

– Ты что, батя. Да я бы в горло ему вцепился, деньги нужны. И так выпустили, говорю же – шутка, ты что?

– А мы вот что – ни нашим ни вашим: давайте Машутке письмо напишем, от всех нас, прямо сейчас! – вдруг предложила мать. – Я знаю адрес, сейчас принесу.

За столом оживились. Начали писать, говорить вслух, предлагать: «Нет, а давайте так...» Да всё без толку: звонил и звонил мобильный телефон у Петра, не давал сосредоточиться, спорили. В наступивший в очередной раз тишине, повисшей после звонка, вдруг грозно и зло прозвучали слова Данилы:

– Так в чём же твоя работа, Петро?

Тут уже и мать не выдержала:

– Отстань, в кой веки приехал сын на побывку? Достал, донял!

– Вот так, как теперь, звонки и звонки. Вот она и работа. Проблемы решаю, то в офис пойдёт, то за тёлками... Сам ходит вот так, в золотых очках... Вот так ходит. Руки за спину, как по зоне. Или

так: раскрывится, как карманный петух. То за французским вином пошлёт, то за билетами на самолёт. Но вот если с утра с бокалом уселся за виски, то всё, пошло-поехало. «Царская Охота», «Медок», рестораны-казино. Но бабы все разные, понимает толк. Он забавляется, а мы с Валерой в машине – сидим-спим. Раньше выгонял на улицу даже зимой, а потом ничего, привык... Как говорится, если хочешь поработать – ляг поспи, и всё пройдёт. Верно, Валера? Врать не буду, работа – не бей лежачего. На-ка, батя, я и вам с матерью деньжат привёз. Ты что так смотришь, глаза выпучил? На-ка, мать, он не в себе от радости.

– Это кто же такие на них? – с интересом разглядывая голенькие, как лубок с весенней берестой, бумажки, спросила мать. – Никак они повешены, гляди, горла-то как затянуты.

– Не повешены, мать. Это – американцы. Президенты их.

– Ну-у, чаво есть-то... Мериканцы... Только у нас ведь, Петя, эти деньги в сельмаге не возьмут, нет.

– С руками оторвут!

– Ты на кого ж работаешь, если тебе американскими плотят? Он что, тоже из них, их человек – твой Термокор, или он – наш генерал, русский?

– Наш, наш, успокойся, батя, с шалавами он всё играет, а я под дверями сижу, охраняю – такая работа. Не работа – лафа.

– Ладно, Петро, за тебя. За то, чтобы ты бросил свою работу, своего генерала и вернулся к нам. А то вот мать-то твоя задыхаться стала, ели ноги таскает, мехи-то качать... К нам! Только к нам! – вдруг рявкнул отец, сдвинув брови, и так ударил в столешницу, что посыпались рюмки и плеснуло красным компотом из кувшина.

– Куда? В твою кузню, что ли? Да и какого генерала, я и на войне-то не был.

– Как не был, а медаль?

– Медаль? Фотошоп. Сейчас объясню. Программа такая есть на компьютере – «фотошоп». Да не ж..., а фотошоп, из Интернета. Любую фотку за бабки. Хоть с президентом, только – плати. И работа, объясняю, не пыльная. Не навоз вилами бросать. Дипломатик, телефон, рация, пистолетик. Ну, билетик купить прокатись. В «Люфтганзу», в Европу, Америку или на Кипр.

– Петро! Прокляну!

– Брось ты, батя. Век высоких технологий, наносистем, а у тебя свинья по сениям ходит, а дом-то, дом, поди-ка, по весне течёт – живого места нет? Нет, я за этот тост пить не буду. А лучше вот: предлагаю выпить за то, чтобы эту вашу деревню похоронили скорее, смели бульдозерами, а стариков дети в города повывезли. Пусть хоть под конец жизни поцарствуют.

В наступившем молчании соседка Нюра встала и, всхлипнув в ладони, вышла из-за стола. За ней поднялись ещё двое.

– Валера, дай-ка там наши песни молодости, а то несёт какое-то ретро, тоска!

Валера покрутил ручку, и из машины уверенно и мелодично затянул «Битлз».

– Приглашаю на танец, Надежда, – протянул руку Пётр подруге детства. – Надеюсь, ты-то не как эти – отсталость, мхом поросшая.

– На лето приезжаю. А теперь останусь. Не смотри удивлённо: кризис. В городе три завода – все встали.

– Корову заведёшь? Или всё-таки козу, с ней полегче. На кол привязал – и того, отдыхай, любуйся видами.

– Не хохми, Петька, каким был, таким и остался..

– А я нет, сюда – ни за что! Три дня – шеф отпустил – и только меня тут и видели. Чего смеёшься?

– Молодёжь танцует! Вся молодёжь танцует! – Валерка выскочил, уронив табурет.

Пётр так увлёкся Надеждой, что, когда оглянулся, увидел пустой стол с недоеденной едой, Валерку, справлявшего малую нужду тут же, под тополем, да старуху-мать, которая помогала отцу взойти по крутым ступеням в дом.

– И чтобы сегодня, сейчас, духу их тут не было, тьфу! Вояка! Я голод пережил, войну, но чтобы в холуи – никогда!..

– Уймись, уймись, неутомный, ведь люди кругом, позор-то!

– Ну, батя надрался.. Хочешь верь, хочешь не верь, а я его таким вижу впервые. Староват стал, рюмки и той пить нельзя. Так ты тут одна, Надежда, а муж?

– Обьелся груш, – слабо отбиваясь от ухажёра, Надежда жалко скривила губы. – Давно уж одна. Оставайся и ты. Тост за это подняли. Оставайся, козу заведём, вместе пасти станем. На кол привяжем, и за любовь, а?

– Так я к тебе приду на ночлег, а то видишь, батя-то выгнал меня. Молчишь?

Ветер шумно налетел, заиграл-запутался в тополе, посыпались мелкие пахучие почки.

– Так что, остаёшься со мной или что – опять «шеф»? Ну, чего задумался, гадаешь: одобрит ли он твой выбор, «шеф», или не одобрит? – подмигнула насмешливо, в глазах заиграли искорки.

– Шеф – он одобрит, – вызывающе окинул взглядом Петро всю её с головы до ног. – Шеф – он в женщинах толк знает. А всё-таки на счёт козы.. Вот тут есть сомнения.

– ...И чтоб ни ноги его, слышишь, мать! Перед всем народом! Так отца обмануть! Так подвести! – опять забуянил в доме Данила.

Упал с грохотом табурет, покатилося что-то со звоном, кастрюля, что ли. Отец выглянул, отмахиваясь от Степаниды, едко заметил:

– А-а, вы ещё здесь, работнички, христа-про-да..

Степанида, одолев, утянула его в комнату.

«Христа-про-дав-цы вы!..» – неслось оттуда.

– Он с какого года, отец-то твой? – спросил Валера задумчиво.

– С тридцать шестого.

– Понятно. Дети войны. Матросов, Мересьев, Гастелло. Родина, честь, слава.. «Жила бы страна родная, и нету других забот...»

– Вот-вот. Вот он – истинный свет. Задурили голову им. Все сто лет так народ дурили: сутками без сна, паши как трактор, и всё за вымпел или за почётную грамоту, вот у них мозги и свихнулись.

А помнишь, Надька, как нам учительница декламировала: «...И чтоб, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому дорогому: борьбе за освобождение человечества»?

– Ничего вам не понятно. И не поймёте никогда. Островский, Корчагин. «Как закалялась сталь»... Надо было, Петя, и книжки читать, а то ты всё только в трясучку, на мелочь... Наиграешь, бывало, полные карманы. Сердится отец-то, значит, есть причина.

Петя, прикуривая, прищурился:

– Вот ты училась, отличница, и что толку? Посмотри на меня и посмотри на себя. Ну что, примешь на ночлег или в машине ночевать нам?

– Иди ты... в машину!

Надя повернулась и бойко и гордо двинулась улицей.

– Иди, иди, да смотри не передумай... Тоже мне, цаца! Знаешь, Валера, сколько она мне крови попортила...

– Смотри, Петя, какая, а?.. Не идёт, а пишет.

– Не пишет, а рисует.

– А знаешь, Петя, что сказал мне её взгляд? Он сказал мне: не учите меня жить, лучше помогите материально.

Степанида, усталая, простоволосая, с неубранными седыми волосами и с косынкой в руке, медленно сошла вниз по ступеням крыльца.

– Ну чего он там, отец-то? Не угомонился?

– Под иконой стоит на коленях и крестится. Ой, Петя, до чего страшно крестится-то. Медленно, широкие кресты кладёт, а сам как каменный будто. Я знаете что, ребятки, я вам в баньке постелю, на воздухе, от греха. Ночи уже тёплые. Я вам хорошо постелю, уютно, подушки у меня – пух в атласе. Вы вот только пистолет-то свой спрячьте подале, спрячьте. Не обессудьте меня, старуху: уж больно зло крестится-то, истово...



**Сергей
ВОРОНОВ**

КОГДА МЫ ЖИЛИ НА СЕМИ ВЕТРАХ

Так просто в мире всё, скажи
Кому-нибудь – и не поверят.
Я останавливаюсь перед
Первооткрытием души.
Молчанье – золото, когда
Друг далеко, а враг отпрянул,
Над головою гром не грянул,
И век слоится, как слюда.
А мой двойник блуждает где-то,
Голодный, выжатый, слепой,
Чтоб стать внезапной вспышкой света
И, может быть, самим собой.

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

Жил в нашем доме старый патефон.
На чёрный круг мне нравилось пластинку
Поставить и в движенье привести.
И вот уже под острою иглою
Вслед за шипеньем музыка рождалась
И становилась ариями опер
И песенкой, которую Шульженко
Так нежно, с тихим придыханьем пела.
А я любил особенной любовью
Старинный марш «Прощание славянки».
Я ставил вновь знакомую пластинку
И с нетерпеньем чуда ожидал.
И чудо возникало, наполняя

-
- Сергей Николаевич Воронов – член Союза писателей России, автор четырёх книг стихов и переводов. Печатался в Ленинграде, в сборниках издательства «Молодая гвардия» («Час поэзии», «Тропинка на Парнас»), в газете «Комсомольская правда». Периодически печатается в журналах «Второй Петербург», «Невский альманах», ежегоднике «Петербургские строфы», «Наш современник» и в «Литературной газете». Занимался переводческой деятельностью. Переводил с латышского, ингушского, чеченского, туркменского языков. Переводы печатались в журналах «Даугава», «Ашхабад» и других республиканских изданиях. Принимал участие в переводе книги избранной поэзии Норвегии «По ту сторону фьерда». Живёт в Петербурге.

Живой мелодией весь мир. Я видел
Движение полков, идущих в битву,
И строгие в немом страданье лица
Беду и гордость знающих славянок,
И белый взмах прощальных их платков.
Я забывал себя, заморожен
Спящим светом музыки, станицей
Щемящих чувств. И марш высокой птицей
Летел сквозь время в шелесте знамен...

Быть может, никто никому
Ни слова не скажет об этом,
Но звёзды упали во тьму
И стали серебряным светом.

Прости меня, сердце моё,
Устала душа городская
И новое ищет жильё,
На волю себя отпуская,

Туда, где уснули сады
И заросли дикой крапивы,
И лишь у озёрной воды
Кольшутся веточки ивы,

И плавают в медленном сне
Пророчеств прозрачные тени,
И скромно стоит на окне
В кувшине букетик сирени...

ЭТА БАБОЧКА В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Эта бабочка в чистом поле
Дышит воздухом вольной воли,
И беспечен её полёт.
А всего-то ей жить, доколе
Солнце за гору не зайдёт.

Я, наверное, мог бы с нею
Дать острастку злосчастью-змею,
Не запутаться в городье.
Только даже думать не смею
О такой же простой судьбе.

А живу я, себя не зная,
Ибо, шёлковая, резная,
Эта бабочка в странном сне,
Словно памяти нить сквозная,
Из былого летит ко мне.

Если жизнь обернётся былью,
 В ней не буду плясать кадрили я
 И подглядывать из-за спин.
 Скоро бабочка станет пылью.
 Я останусь совсем один.

ЛИЧНОЕ

*Памяти поэтов
 Ольги Бешенковской и Михаила Зива*

Оля и Миша, вы первыми стали,
 Кто заглянул в запредельные дали.
 Вместе когда-то мы рифмы искали,
 Юность летела, а мы и не знали,
 Как разбегутся пути по земле.
 В чуждых краях вы зачем обитали,
 Что повидали и что отыскиали,
 Может, живой уголёчек в золе?
 Не тяжело ли вам нынче под спудом
 Чёрной землицы, скрывающей вас?
 Мысль изречённая жгла самосудом,
 Ложь не пуская в духовный припас.
 Если летит по орбите планета,
 Если проносятся лучики света
 Сквозь темноту междузвёздных дорог,
 Душами вашими, значит, согрета
 Жизнь безнадёжная милая эта,
 Где неизбежен назначенный срок.

ТИШИНА

1

Я с тишиною повстречался ночью.
 Дневных событий бестолочь сорочью
 Я позабыл. И тишина меня
 Приветила, как добрая родня,
 Которая мне все грехи простила
 И в домике надежды поселила.

2

Но тишина была не тишиной:
 Звучал в ней ветер тонкою струной,
 Листва деревьев бормотала, словно
 Пересказать пыталась ночь дословно,
 И по шоссе струился шелест шин
 Невесть откуда взявшихся машин.
 А в доме жили шорохи и всплески,

Фрамуги вздох и шёпот занавески,
И ходики стучали мне назло,
Своё не забывая ремесло.
Лишь вдалеке среди небесных тел
Воздушный шарик тишины летел.

3

И вспомнил я, как в тишине иной
Была моя любимая со мной.
Она спала, и тела нагота
Была желанна и была свята.
И сделать вдох мне было не резон,
Чтоб не вспугнуть моей любимой сон.
И неизвестно: счастьем иль виною
Я поделиться мог бы с тишиною,
Когда мы жили на семи ветрах,
С тревогою судьбу держа в руках.
А лунный свет копился у окна,
И длилась ночь, и длилась тишина.

4

Нет, не заснуть сегодня, и не надо
Мне тишины, и не нужна бравада,
Что, мол, и впрямь, покой нам только снится.
Меж сном и явью странная граница,
Когда рассвет, сгорающий в огне,
Протягивает руку тишине...

ЛАСТОЧКИ

Я с ласточками не дружил давно.
Я выходил из хаты, робкий мальчик,
И ласточки носились надо мной,
Над степью, где трава была примята
Жарою полдня. Марево взбухало,
И ласточки мгновенно пролетали
И растворялись в мареве, и вновь
Оттуда возвращались, щебетали,
Как прочищали горлышки, и мне
Понять язык стремительный хотелось,
Чтоб с птицами затеять разговор.
А как они лепили гнёзда! Ловко
Кусочки глины склеивали вместе.
Наверное, у них учились люди
Надёжно ладить мазанки свои.
О будущем не думал я тогда.
Хватало мне блистающего солнца,
Пирамидальных звонких тополей
И ласточек. И так милы мне были

Их чёрных глаз созревшие маслины
И крылья их над благостью земной...
Так далеко теперь до Украины,
До ласточек, не позабытых мной.

Не скажешь ни словечка,
Не позовёшь меня
Туда, где тает свечка
Сгорающего дня.

Молчит твоё заречье,
Где тишь и немота,
А мне во всём перечит
Мирская суета.

Во всём перечит, лечит,
И я сумел сберечь
И голос твой, и плечи,
И безысходность встреч.

Не тенью за рекою,
Не холодом святош –
Последнею строкою
Ты от меня уйдёшь.

И потому не надо
Тревожиться о том,
Что поздняя отрада
С печалью входит в дом.

А ветры злы и резки,
И скромно тишина
Прильнула к занавеске
Открытого окна.

Горчит в гортани воздух,
В крови гуляет яд,
И в чёрной бездне звёзды
Пока ещё горят.

Дни былые уходят, теперешним дням не родня.
Улыбнулся, вздохнул, помахал на прощание им.
Мимолётное время с укором глядит на меня:
Мол, живёшь не заслугой, а лишь покаяньем одним.

Потому и решился остаться собой до конца,
И чужие не мне на плечах вожделенья нести.
И когда мне на лоб упадёт триединство Творца,
Жизни я прошепчу, исчезая: «Пойми и прости...»

ДЕТСТВО

На Театральной площади
Такой уютный скверик.
Я с мамой и сestroю
На лавочке сажу.

И всё вокруг привычно,
Всё как всегда бывало:
Передо мной театр
Стоит большим шатром.

Прохожие проходят,
Звенят в звонки трамвай,
А я сажу и плачу,
Я знаю, дело в чём.

Со злыми глазами,
Такой большой и серый,
Из леса волк приходит
И лязгает зубами.

Из самой тёмной чащи,
Укронной глухомани,
За мною волк приходит
И лязгает зубами.

А я сажу и плачу,
И, замахав руками,
Сердито гонят волка
И мама, и сестра.

И я сажу тихонько
И радуюсь сквозь слёзы,
Гляжу, как виновато
Домой уходит волк.

И я сажу тихонько
И думаю о волке:
Наверно, очень страшно
Жить одному в лесу.

Снова жёлтые листья по лесу текут рекой.
Это осень настала, и нет никаких чудес.
Жизнь, оставь мне хотя бы этот грустный покой,
Потому что вошёл я в старый осенний лес.
Я судьбу свою нынче спокойно в руках несу.
Так уж случилось, что слабым не был я никогда.
Если даже вдруг заблужусь в осеннем лесу,
Разве в этом будет моя беда?



**Натэлла
ЛЕВИЦКА**

ДВА РАССКАЗА

КАБАН

Не знаю, с какого перепуга, но на середину деревенской улицы на последней скорости выскочил кабан. Очувтившись на дороге меж колеями, он стал как вкопанный, словно опешив от собственного нахальства...

А деревенских жителей как ветром сдуло, и не со страху: все бросились доставать и перезаряжать нелегальные винторезы и ружья..

Будто почуяв длинным рылом неладное, заматеревший зверь развернулся и тем же проложенным маршрутом – через огород соседа – дунул оврагом в лес. И тоже на максимальных парах.

Секачу повезло.

Но соседу – меньше, поскольку наглый свин стал навеваться по ночам на огород, благо тот был открыт со стороны оврага и леса.

Основная деятельность зверюги приходилась на головы капусты и грядки со свекольной ботвой – перерыл и перекопал всё вдоль и поперёк, сожрал и затоптал изрядно – в общем, вёл себя как и полагалось свинье.

Естественно, сосед объявил кабану кровную вражду.

Но то ли нюх у животного был тоньше, то ли ума больше, только бессонные ночные засады ничем не заканчивались. Но вот стоило соседу не выйти в ночное или, наоборот, уйти в ночную смену, как кабанчик без зазрения совести совершал опустошающий набег.

Собака, поначалу тывкавшая и сообщавшая хозяину о бесчинствах, вскоре была кабаном нейтрализована – не убил, нет, он был гуманист, а попросту перевернул вместе с будкой, куда та заблаговременно забилась. И, видимо, будке досталось хорошо.

-
- Натэлла Левицка живёт в Саратове. Публиковалась в поэтическом сборнике «Глагол» (Москва), в литературно-художественном альманахе «Чудеса и приключения» (Москва), в журналах «Волга–XXI век» и «Пражский Парнас».

Так или иначе, пёс был выведен из строя и, не справившись с психологической травмой, закрыл глаза на демарши свиньи и более голоса из конуры не подавал.

Не в силах подкараулить наглого кабана с поличным, отчаявшийся мужик решил пойти по следам зверя и накрыть того в логове. Но вот псине идея не понравилась, и она наотрез отказывалась за ним следовать, забыв о верности и дружбе.

Так что после недолгих мытарств пришлось хозяину «занять» собаку в соседнем дворе – тоже матёрого и бесстрашного кобеля, бывалого в передрягах.

Вот так они однажды и ушли на рассвете – пёс невероятных размеров и сосед, до зубов вооружённый нелегальным оружием.

На следующий вечер, уже затемно, охотник вернул собаку владельцу.

И, судя по серьёзным выражениям лиц пса и ловчего, дело у них сладилось.

Так или иначе, никто больше с огорода не кормился, а несчастная собака в отремонтированной будке кое-как пришла в себя от стресса и пережитого кошмара...

Самое удивительное, но следующим летом история с потравой и порчей имущества возобновилась – те же перепаханные гряды и сбитая капустаная борозда, те же перелопаченные корнеплоды...

Хозяин столкнулся с вредителем нос к носу среди бела дня – то был молодой, но не менее наглый самец с точно такой же рыжей подпалиной по рылу до макушки, что и у прошлогоднего разорителя.

«Вот, значит, как: сын за отца...» – подумал тогда хозяин и удивился подобной мстительности скотины.

По счастью для кабана, в руках у соседа не было ни вил, ничего такого, чем навредить зверю, а тот в свою очередь пристально посмотрел в глаза человеку своими маленькими смышлёнными глазками, повёл длинным рылом вверх-вниз, тихо хрюкнул и пулей пустился к оврагу.

Всё что мог потерпевший – это швырнуть паразиту вслед свёклой, размотав её за ботву на манер пращи...

На той стороне оврага секач остановился, посмотрел в сторону соперника, ещё раз, но уже зычно хрюкнул – и скрылся в лесу.

Мужчина решил не тратить бессонных ночей на засады и караулы, вполне обоснованно предположив, что за внешним сходством этот экземпляр унаследовал от папаши ту же смекалку.

И, опустив прелюдию противостояния животному, он сразу отправился к соседу за псом.

Но тот одолжить собаку наотрез отказался, памятуя о прошлогодней обиде: охотник добычей с ним так и не поделился, а если и поделился, то не в ожидаемом объёме – просто съездил в лес с тачкой, погрузил убитого кабана и привёз домой по сумеркам, не особо утруждаясь расплатиться за аренду волкодава...

В общем, уговоры и обещания исправиться не подействовали, и ему ничего не оставалось, как рассчитывать на свою псину, а та, видимо, помня о пережитом ужасе, реабилитировать своё честное имя особо не жаждала.

Опускаем подробности... Им всё же пришлось следующим утром выдвинуться против воруги.

К ночи, уже совсем затемно, пёс понуро приплёлся домой, залез в конуру, положил лапы на край лаза, морду на лапы и с проникновенной тоской в голосе громко так и протяжно завыл...

МИЛЫЙ ТОМ

В детстве, когда мы маленькие и несмышлёные, нас любят безусловно, по факту прибытия в этот мир, в эту семью... Папа, мама, остальные дети (если есть) сюсюкают и носятся с нами, прощают многие шалости и то, что «под нас» меняется весь уклад семьи, нас буквально носят на руках и говорят, что мы самые-самые чудесные и умные в мире – какие ушки, глазки, какой славный носик...

Естественно, папа с мамой заботятся о нашем питании, больше мама – папа постоянно на службе. И, естественно, мужского внимания ждешь и ценишь его особенно; прогулки с папами – это повод для гордости с обеих сторон. Все во дворе обычно останавливаются, говорят: «Ой, какой славный! Какой умненький! А что он умеет?» – и папа гордо озвучивает, с чем я уже освоился.

А совместные купания после прогулки – в четыре руки! Крепкие мужские меня удерживали, а мягкие, женские, намыливали чем-то душистым... В такие моменты вся семья занималась общим делом, а я боялся утонуть, но в то же время был безмятежно счастлив...

Потом ты тихонько подрастаешь и вот – от правильного питания и вовремя сделанных прививок – плавно переходишь в осмысленное состояние, и начинаются развивающие игры, выход в свет, чтоб посмотреть, как ты уживаешься в коллективе... Там ты получаешь свои первые тумачи и царпины, боишься тех, кто крепче и крупнее тебя... И хорошо, если кто-то из близких рядом!

От беззаботного младенчества – переход к адаптации и дисциплине, к постижению науки... Все от тебя что-то требуют, требуют...

И в конце концов ты – такой умный, правильный, вышколенный, что на тебя можно положиться, оставить дом, семью, и ты не имеешь права не оправдать возложенного доверия...

У меня была самая крепкая, образцовая семья. Детей до меня в ней не было – всё не получалось как-то... А потом появился я, и, естественно, всю любовь выплеснули на меня, даже чаще, чем именем, называли просто «наш поздний ребёнок». Маму в семье называли «наша мамочка», а отца – «наш папочка». Ну и, естественно, как обычно в семье, если я вёл себя хорошо и был «умненьким мальчиком», то, разумеется, «хороший мальчик – папин мальчик»... А если шkodил и кавардачил или дрался во дворе, папа обвинял маму: «Это твой, такой-разэтакий...» – и припоминалось всё, что я набардачил за всю предыдущую жизнь.

Нашим с папой основным любимым занятием кроме совместных прогулок было просиживание на диване и просмотр того, как страш-

ные дядьки огромной толпой, со страшными палками гоняются друг за другом из стороны в сторону, так что в глазах мельтешило – туда-сюда, туда-сюда...

Отец семейства постоянно подскакивал и орал, а я нервничал, потому как тупил, но тоже изображал радость неописуемую, за компанию, тогда отец из мужской солидарности трепал меня по голове, целовал в макушку, говоря: «Молодец, мужик!» – и прижимал к себе, а я боялся, что он меня задушит от избытка чувств.

На крики и визги появлялась из кухни наша мамочка и возмущалась: «Отец, оставь Томми в покое! (Том – это моё имя вообще-то...) Ты сбиваешь ему режим! Нам пора гулять!»

И вот тут после объятий отца меня начинали душить противоречия: хотелось сорваться и мчаться гулять, на воздух, свободу... Но... поскольку я только что проявлял недвусмысленный восторг по поводу зрелища, как-то сразу перекинуться на другую сторону было несколько сомнительно. И я из последних сил, разрываемый между желанием и обязательствами, сидел, вперясь в экран.

Но! Наша мама! Она знала об этих противоречиях, просто подходила, хлопала тихонько по спине и говорила строго: «Том, идём гулять!»

И я плёлся с видимой неохотой в прихожую, но, исчезая из отцовского поля зрения, тут же наливался истинным счастьем. Конечно, я немного хитрил, а как бы вы поступили на моём месте?!

Наверное, я был несказанно счастливым, что мне повезло оказаться именно в этой семье...

Детство, ах детство... Хотя и позже – наши поездки на рыбалку или охоту, всякие такие увлечения настоящих мужчин...

Потом в семье появился ещё один ребёнок, и всем забот прибавилось. Я-то был уже умным, ответственным, и, естественно, часть забот легла и на меня: смотреть за ним, куда поползёт, и возвращать на место, играть с ним, прогуливать, когда подрос, а рос он медленно, во всяком случае, медленнее меня, и всё время нуждался в присмотре и опеке.

Со стороны было даже странно, какой он... не такой... неуклюжий, что ли... Но, впрочем, мы друг другу сразу понравились – и подружались.

Он чувствовал во мне старшего, что я защищаю его и на меня можно положиться...

А вот свои «шкоды» часто сваливал на меня, и это меня обижало – я-то за свои отвечал всегда сам. Но приходилось молча переносить его проделки и не выдавать – он же маленький...

А потом я заболел... чем-то нехорошим, и начались врачи – их я боялся панически, но по-мужски переносил визиты к ним и к нам, осмотры...

После одного из таких визитов врач долго разговаривал с моими, тихо, чтобы я не слышал, но я-то не дурак – и всё слышал...

И мне делалось особенно страшно...

Потом доктор ушёл... Наш папочка вернулся из прихожей, долго смотрел на меня, потрепал по голове... И сказал:

– Ну, что, брат, вот такие дела... Тут уж ничего не попишешь... – И уже не ко мне: – Дорогая, а Томми придётся усыпить...



**Галина
ТАЛАНОВА**

ЖИЗНЬ ВОШЛА В КОЛЕЮ...

А тополь вырос на обрыве.
 Стоял и гнулся на краю
 Навстречу тонкой гибкой иве,
 Хоть не была та жизнь в раю.
 Зачем так рос –
 Корнями в воздух,
 Чтоб рухнуть кроною в поток?
 Любовь, случившаяся поздно,
 Когда её пропущен срок,
 Пришла – и корни тянет в воду.
 Высокий берег с ивой крут.
 И не найти в стремнине брода,
 К которой ивы гнётся прут.

Водою чистой поманил
 Там, где течение в омут сносит,
 Где выплыть не хватает сил,
 Ведь за порогом дышит осень.

-
- Галина Таланова (Галина Борисовна Бочкова) – биофизик, кандидат технических наук, автор семи книг стихов и трёх романов, родилась и живёт в Нижнем Новгороде, работает в НПО «Диагностические системы». Член Союза писателей России.

Лауреат премий «Болдинская осень» (2012), журнала «Север» (2012), премии им. М. Горького (Нижний Новгород, 2016), лауреат международного конкурса им. де Ришелье (Греция, 2016) за романы «Голубой океан» и «Бег по краю», международного конкурса «Её Величество Книга!» (Германия, 2016), дипломант VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2016) за книгу стихов «Сквозь снега, наметённые в вёснах», дипломант международного конкурса им. О. Бешенковской (Германия, 2015), международного конкурса им. Мацуо Басё (2016) и конкурса «Лучшие поэты и писатели России» (2013) в номинации «Поэзия».

Стихи и проза публиковались в журналах «Нева», «Юность», «Роман-журнал XXI век», «Север», «Аргамак», «Волга–XXI век», «Вертикаль. XXI век», «Природа и человек», «Новая Немига литературная», «Работница», «Родная Ладога», «Сура», «Берега», «Золотое руно», «Подъём», «Зарубежные задворки» (Германия).

Там жёлтый сыплется песок,
Скользит меж пальцев, как минуты.
И от любви на волосок
Вдруг испугаюсь в сердце смуты.
Я вспомню детство.
Живы все.
Заглох мотор,
В косу уткнувшись.
И в этой светлой полосе
Пройду по дну, не окунувшись,
Всю речку вброд.
И снова мель...
И вёсла шкрябают по илу.
Всё унеслось,
Как смысл всё сель.
Остались во поле могилы.

Снова двое над морем парят
На оранжевом шаре безвольно.
Волны – будто бы стадо ягнят.
Отчего мне по-прежнему больно,
Отчего я грущу о любви
И о том,
Что ушло безвозвратно?
Строят храмы всю жизнь на крови,
Не отмыв на земле её пятна.
Строят храмы –
И слушают звуки
Органа,
Что в счастье рыдает
В Рождество,
Нарушая весь сон, –
И, как шар,
Этот плач ускользает.
Он летит над землёй в небеса,
Что позволили строить на бойне.
...Двое в небе парят полчаса,
Чтоб вернуться в мирок беспокойный.

Каталось море по песку,
Лизало берег,
Как собака,
Вгоняя в осень и тоску.
И жизнь была опять без лака.
Штормило всё-таки слегка.
Вода ещё ласкала тело.
И за строкою шла строка,
Как за волной волна летела.
И пена – белая слюна –

На камни брызгала беззлобно.
И я была опять одна
На берегу,
Совсем свободна.
Никто не ждал.
На гребнях волн
Качалась чайкой белокрылой,
Боясь, что вынесет на мол,
Где камни ластятся остыло.

Я стала уставать от тишины.
Она звенит комариком над ухом.
И мыши между стенок не слышны.
Я цепенею, как в предзимье муха.
Как будто жизнь и впрямь здесь замерла.
Соседский дом закрыт на все запоры.
Мне кажется, я тоже умерла,
Прошла по голубому коридору.
В нём яблони свивались как вьюнок,
Переплетая сломанные ветки.
И потолок из веток невысок,
Как у плющом опутанной беседки.
А яблоки зелёные ещё
Напоминали гроздь винограда.
И так хотелось мне найти плечо,
Чтоб опереться в райских кущах сада.

Солнце светит нещадно и прямо.
Отвожу от лучей я глаза.
Вспомню лето, где жили мы с мамой, –
И опять набегает слеза.
Вспомню лето,
Где дождик неверный
Всё не шёл,
Хоть его заждались.
На горе опустела цистерна –
С гор ручей не бежал в неё вниз.
И под осень лишь дождик вернулся.
Куст сирени воспрянул в саду:
Вдруг зацвёл, вдруг от спячки очнулся,
Не предвидя метель и беду.

Если б знать,
Что последнее лето,
Где я слушала в доме шаги!
В пятнах крови листва бересклета
Проплывала по глади реки.
Волчьи ягоды
Каплями крови

Опадали
На берег крутой.
Мама жизнь,
Как бескрайнее поле,
Перешла, не позвав за собой.

Тревожно-багров этот вечер.
И солнце как спелый гранат.
И суженый так и не встречен,
Хоть жизнь потекла на закат.
За облако скрылись родные.
Не прячутся тени во мгле.
И время, где все молодые, –
Как птицы перо на земле.

*...Мне не весело, не радостно.
Крот приполз на солнцепёк:
На конце сухого августа
Ищет тонкий ручеёк.*

*Ручеёк едва ли сыщется –
Скрылся в гари дымовой.
...Мне – как в день последний пишется:
Водит жизнь моей рукой.*

Эльвира Бочкова, июль, 2010

И мама всё-таки пришла
Во сне коротком, но глубоком.
В саду запущенном нашла
На том крыльце, поросшем мохом.
Я нежно в строчках сплошь тетрадь
Качала грустно на коленях
И продолжала горевать
На сгнивших стареньких ступенях.
«Не слушай, дочка, никого!
Я голос свой в тебя вложила.
Ты слушай только лишь его
И не живи, как крот, бескрыло.
Ты вспомни:
Крот на звон ручья
Приполз в то лето в смоге, в дыме.
Вода блестела, как парча...
Плыл дым – как танец лебединый...
Но зеленеет жизнь в стихах,
Что уцелели в тех пожарах,
И, время победив, и страх,
Живут, хотя меня не стало...»

Лизнула речка робко ноги
Своим холодным языком,
Хоть в глубине таит пороги,
Рябит под свежим ветерком.
Рябит – и омут не замечен.
Такая тишь и благодать!
Хоть понимаешь: мир не вечен
И скоро ветру листья рвать,
Трепать рябиновые кисти,
Что загораются огнём.
И жизнь моя, как жёлтый листик,
Слетит в холодный водоём
И проплывёт туда,
Где омут,
Где ночь, тоннель, небесный свет,
Всё дальше от пустого дома –
И сил обратно выплыть нет.

Жизнь вошла в колею.
И зима
Накатала лыжню среди ёлок.
И нисколько не надо ума,
Чтоб искать в сене блеск от иголок.
Что упало – пропало,
Не плачь!
Не отыщешь в листве прошлогодней.
Жизнь – цепочка потерь и удач.
Ну и что, что потеря сегодня.
Ну и что, что следы замело,
Что ключи потерялись от дома.
Оглянись: посмотри, как бело –
Это в юности было знакомо.
Всё сначала.
С горы – под откос,
Чтоб потерянный дух захватило!
Лишь скуёт вдруг дыханье мороз
Да слеза на глаза накатила.

Опять за окнами салют,
Стреляют розовым, лиловым.
И в доме тишина, уют,
Ни с кем не перекинусь словом.
Миганье лампочек цветных.
Дождь серебристый льётся косо.
И никого уже в живых,
Кто мучил въедливым вопросом:
«Зачем живёшь?»

И «Что болит?»
Трель телефонная всё реже
В холодной комнате звенит,
Где воздух пахнет хвоей свежей.
А мне спокойно и легко.
И я уйду, махнув рукою,
Куда-то в небо далеко,
Где нас – как пчёл в гудящем рое.

НОВОГОДНЕЕ

Всмотрелась в тёмные глаза –
Из глубины ждала ответа.
Хотелось верить в чудеса,
Очаровавшись пляской света.
Мигали все диоды врозь:
Зелёный, жёлтый, синий, красный.
Ты на меня глядел, но сквозь...
Вполуха слушал безучастно.
...И вдруг потухли все огни,
Остались только синей неги –
В цвет неба в солнечные дни,
В крап васильков сквозь ржи побег.
И ты в глаза мои взглянул –
И по реке поплыли льдины...
Но красный свет в ветвях мигнул
Из серебристой паутины...

В небо сосны верхушками рвутся,
Хвоей пышной качая слегка.
Мне до них не сумею дотянуться...
Сонным стадом плывут облака.
Дни проходят.
Настойчивый ветер
Гонит стадо на огненный шар.
Я б хотела уйти на рассвете,
Не в безумный закат, как пожар.
Не сейчас.
И не завтра.
Хоть годы
Облаками летят в никуда.
Пусть нелётная будет погода
Для души,
Чтоб уплыть навсегда.



**Александр
ДИВЕЕВ**

Я РОЖДЁН ПОД СТРАННОЮ ЗВЕЗДОЙ...

ЖУРАВЛИНЫЙ РОМАНС

Солнце. Тишь. Прохлада
Над рекой и полем.
Цвет губной помады
Поменяли зори.

Горизонт в корсете
Серебристой дымки.
Паучки, как сети,
Тянут паутинки.

Синь небес латает
Облаками осень.
Тёплый вечер. Стаи
Листьев бьются оземь.

Над рябиной рыжей,
Над дорогой длинной –
Плач романса слышен
Скрипки журавлиной...

-
- Александр Алексеевич Дивеев родился в 1951 году в деревне Ундольщино Кистендейского (ныне Ртищевского) района Саратовской области. Окончил Саратовский экономический институт. Составитель первого сборника стихов ртищевских авторов – «Цветы и пепел». Публиковался в журналах «Волга–XXI век», «Природа и человек. XXI век» (Москва), «Странник» (Саранск), «Новая Немига литературная» (Беларусь), альманахах «Стрежень» (Тольятти), «Литературный Саратов», в коллективных сборниках книжных издательств: «Саратовский писатель», «Саратовский источник», ИИК «Вестник» (Саратов), «Оверлей» (Москва), «Золотая строфа» (Москва), «Доля» (Симферополь), «Дикси-Пресс» (Москва) и др. Автор поэтических книг «Звезда Антарес», «Плащаница Души», «На кресте любви». Лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси-2014». Живёт в г. Ртищево.

В ИСКРИСТОМ СОЛНЦЕ НЕБОСВОД...

В природе вновь переворот:
Вся власть весне, теплу и свету.
В искристом солнце небосвод,
И ясны вешние рассветы.

Холодных дней закат потух.
С планеты медленно, устало
Зима, как с пастбища пастух,
Уводит снежные отары.

ЗВЁЗДНЫЙ БУКЕТ

Это имя добром поминал я всегда:
В день веселья и в грустный свой час...
Нашей встречи с тобой полыхнула звезда –
Вот и вспомнил Радетель о нас!

В тихий вечер у звёзд голубых на виду
Растревожат покой соловьи...
Я тебе подарил бы, как прежде, звезду,
Только звёзды теперь не мои.

И с тобою такой я почти не знаком.
Снова влюбишь? Наверно, уж нет.
А ромашки тебе я нарвал с полынком –
Это, видно, мой звёздный букет.

Он к твоей прикасается робко груди,
Как и я прижимался не раз.
Не грусти: будем вместе на Вечном Пути,
Только Жизнь эта станет без нас.

Скоро снова зажжётся разлуки заря –
Растворятся звёзды, как дым.
И, за позднюю встречу друг друга коря,
«Слава Богу!» – Ему говорим.

В тихий вечер у звёзд голубых на виду
Растревожат покой соловьи...
Я тебе подарил бы, как прежде, звезду,
Только звёзды теперь не мои.

БЛАГОДАРИЮ

За лазоревое утро,
За примятую зарю,
За мечты из перламутра –
Я Тебя благодарю.

За недобрый мир спесивый,
За далёкую грозу,
За туманный день спасибо
И за тихую слезу.

А за счастье...
Мне бы просто
Предков в памяти хранить,
Жить с душой, смотреть на звёзды
И Тебя благодарить

За лазоревое утро,
За примятую зарю,
За мечты из перламутра...
Я Тебя благодарю.

ЗАВЕТ*Вале*

Острой нахлынувшей болью
Сердце скрутило моё –
В старом забытом альбоме
Фото увидел твоё.

Боже! Светла, непорочна,
Словно в лазоревом сне,
В беленьком платье в цветочек
Ты улыбаешься мне...

Словно с украденной розой
К милому сердцу крыльцу,
Через туманы и грозы
Шёл я с тобою к венцу...

Пусть твоё сердце стучится
Долго в небес ворота.
Если ж такое случится,
Что не сказать мне...
Тогда...

Я удержусь от заветов,
Только один будет дан:
Чтоб положили мне это
Фото в нагрудный карман,

Где так светла, непорочна,
Словно в лазоревом сне,
В беленьком платье в цветочек
Ты улыбаешься мне...

Дума и ноченькой будит,
В сердце усталом кипя:
«Вдруг в суете позабудут!
Как же я ТАМ без тебя?!»

ЗВЕЗДА АНТАРЕС

Когда, случилось, тело и душа
По жизни неприкаянно скитались –
Из бездны тишины, чуть-чуть дрожа,
Смотрела на меня звезда Антарес.

И ощущалось с юных лет душой,
Звезды холодным светом опалённой,
Что я рождён под странную звезду
Далёкого созвездья Скорпиона.

Давно покинул звёздный я порог...
Случалось, шёл по жизни, спотыкаясь.
А было – брёл и вовсе без дорог,
Любя-страдаю, ненавижда-каюсь!

Не упрекну Антарес никогда.
И, глядя ввысь, шепчу я в час бессонный:
«Благодарю, заветная звезда,
За доброту и нрав твой непреклонный».

Когда в последний раз я упаду,
Уставясь в синий купол небосклона,
В моих глазах увидите звезду
Далёкого созвездья Скорпиона.

И, разрезая темь и синеву,
На блеск светил сапфировых не зарясь,
Я в мареве межзвёздном уплыву
К звезде с прекрасным именем – Антарес...



**Наталья
ЗАЙЦЕВА**

*Дочери Елене и внуку Марку
к 100-летию со дня рождения
их бабушки Веры Филипповны*

МАМИНЫ РАССКАЗЫ



Вера Филипповна

Эти истории я написала по рассказам мамы. Мне хотелось сохранить их не только в своей памяти, но и передать эти маленькие, но подлинные истории из жизни нашей семьи в руки братьев, сестёр, которые, увы, уже немолоды. А главное, в руки наших детей, внуков и правнуков.

Мне хочется, чтобы они не только помнили имена дедов и прадедов, но и то, какие испытания выпали на их долю.

Дай Бог! Всех земных благ, как говорила мама, всем здравствующим родственникам.

Спасибо тем, кого уже нет с нами.

Благодарю своего мужа Александра Фёдоровича Зайцева за поддержку и помощь в написании рассказов мамы.

Наталья Зайцева

-
- Наталья Викторовна Зайцева родилась в 1950 году в Саратове. Окончила Саратовский юридический институт. В литературно-художественном журнале печатается впервые. Живёт в Москве.

ВЕРА

Шёл 1930 год. Вера училась в шестом классе и вдруг заболела непонятной болезнью.

Через какое-то время поставили диагноз – тропическая малярия. Но откуда взялась эта болезнь, эта зараза? Никогда и никто в их деревне такой болезнью не страдал и даже не слышал о ней.

На протяжении трёх лет Вера не могла ни ходить, ни учиться. Её носили на руках к столу, к печке, а летом – во двор. Она очень хорошо помнила одно лето, когда поспела чёрная смородина и её принесли в сад и положили под куст. Вера лежала на земле и ртом рвала смородину и ела, а руки и ноги её не слушались.

Лишь в семнадцать лет Вера закончила семь классов. Природа одарила её прекрасной фигурой, она была уже красивой девушкой, когда после болезни заканчивала школу.

По соседству с домом в посёлке Примерном, где она жила со своими родителями, Филиппом и Устинией, бабушкой Фёклой, сёстрами Александрой и Клавдией, братьями Василием, Петром, Владимиром, стоял дом Пулиных. Был у них сын Григорий. Он отслужил несколько лет в армии и вернулся красавцем. Вот и случилась меж ним и Верой любовь. Любовь первая, нежная, без прикосновений. Вера боялась своих чувств и скрывала их. Григорий предложил ей выйти за него замуж. Она была счастлива, но сказала ему: «Как решат родители». Вскоре в их дом пришли Нюра, жена брата Григория, и его сестра, и стали они сватать Веру за Григория. Филипп Петрович позвал Веру и спросил: «Вера, у вас с Гришей что-нибудь было?» Она испуганно ответила: «Нет». Филипп Петрович повернулся к свхам и сказал: «Вера замуж не пойдёт, рано ещё, учиться ей надо». Сваты ушли.

Вера плакала, но слова отца для неё, как для всех в их семье, были законом. После этого никто даже и не обмолвился о происшедшем.

Любовь любовью, а Филипп Петрович повёз Веру в Саратов. Вместе с ними поехала подруга Веры. Остановились они у своих «деревенских» родственников, уже несколько лет живших в Саратове.

Когда Вера оказалась в Саратове, её ошеломило множество красивых зданий, домов, площадей. Она была в восторге от красоты увиденных церквей, музеев, театра, от чудесного парка в центре города, который назывался «Липки». В аллеях парка стояли лавочки-диваны, и горожане отдыхали на них под тенью красивых деревьев. В парке был летний кинотеатр, играл духовой оркестр, и на танцевальной площадке – море танцующих людей. Парк был обнесён красивой чугунной изгородью. Понравилось Вере и то, что в городе, где она никогда не была, много красивых и хорошо одетых людей.

Филипп Петрович решил, что Вере надо поступать в медицинское училище. Хорошее это ремесло, думал он, а если он так решил – тому и быть.

Вера и её подруга поступили в училище, но на разные отделения. Жили они в общежитии, учиться было интересно. Вера охотно познавала премудрости будущей профессии. Гулять они ходили в Липки. Почти все девушки из медучилища ходили на танцы в Дом офице-



Вера. Саратов, 1937 год

ров. Бывала там и Вера. Она всегда имела успех у молодых курсантов, но не позволяла им за собой ухаживать, хотя парни были достойными.

Иногда Вера отказывалась от прогулок с сокурсницами, оставалась в общежитии и предавалась воспоминаниям о доме, родных и особенно о Грише. Любовь заполняла всё её существо, и в глубине души Вера всегда надеялась, что жизнь сведёт её с Григорием.

Время шло. Незаметно пролетели годы обучения в медучилище. Вере предложили на выбор три места, куда бы она могла поехать работать. Она выбрала Ней-Вальтер, это примерно в 100 километрах от Саратова.

Вера знала со слов своего отца Филиппа Петровича о немецких поселениях в Саратовской области, и ей было очень интересно увидеть своими глазами посёлок с таким необычным названием. Ей хотелось там работать.

Вера не знала, что ещё Екатери-на Вторая пригласила немцев в Россию из Германии и Швейцарии. У приехавших немцев было много льгот, которых не имели русские. Всего в Саратовской и Самарской областях было 190 немецких поселений с населением более 400 тысяч человек. Это данные на 1911 год:

«Немецкий хутор Ней-Вальтер был основан во второй половине XIX века недалеко от коммерческого тракта из Баланды (это слобода Аткарского уезда Саратовской губернии) в Елань. Первыми поселенцами были колонисты из находившегося южнее села Вальтер (ныне Гречихино Волгоградской области), осваивавшие новые земли. До самых удалённых посевов порой приходилось добираться целый день, поэтому было решено основать при них хутор для постоянного проживания (828 человек – по сведениям 1885 года). Русское название «Гречневая Лука» было дано по материнской колонии, называвшейся так в те годы. Административно хутор относился к Колокольцовской волости Аткарского уезда Саратовской губернии. По данным 1910 года, численность населения составляла 1110 человек (125 дворов). Имелась церковно-приходская школа при лютеранском молитвенном доме (приход Франк), поголовье скота свидетельствовало о благополучии населения: на каждое хозяйство приходилось в среднем по три лошади, две коровы и десять голов мелкого скота (свиньи, овцы).

После Октябрьской революции колония являлась центром сельсовета и некоторое время входила в АССР Немцев Поволжья (Франкский кантон). В 1926 году в Ней-Вальтере насчитывалось

1516 жителей (в 1939 году – 2203), имелись кооперативная лавка, начальная школа, изба-читальня и передвижная библиотека. 1 октября 1927 года населённый пункт был выведен из состава немецкой АССР, в составе Нижне-Волжского края он затем относился к Баландинскому району. В 1936 году Ней-Вальтер стал центром одноимённого района Саратовской области. Школу в 1939 году преобразовали в семилетнюю. Сельское хозяйство сельсовета было объединено в колхоз «Россия». (Большая Саратовская энциклопедия.)

Приехав вместе с сокурсницей в Ней-Вальтер, Вера была приятно удивлена увиденным. Добротные дома, чистые улицы. Всё радовало глаз. Их поселили в дом, где жила семья немцев из пяти человек. Хозяйина звали Фридрих. Как звали его жену и его престарелую мать, Вера уже не помнила. В семье было двое детей – сын Эдвард лет пяти, и дочь Гульда лет восьми, похожая на мать, жену Фридриха. Комната, где разместились Вера с подругой, была большой и светлой. В ней было всё необходимое, а также стол (тумба), обитый сверху зелёным сукном, и стулья. Кровать была одна. «Спали на одной койке», – вспоминала Вера.

Вере нравилось жить среди этих людей. Она полюбила семью Фридриха. Девушка делала уколы бабушке (так она называла мать Фридриха), когда та болела. Вера всячески старалась помочь ей. В доме Фридриха девушка увидела, как удобно устроен быт в этой семье. Во дворе дома располагалась летняя кухня с печью, и это было очень удобно и практично в тёплое время года: готовить еду, обедать, ужинать не в доме, а во дворе на летней кухне. Всё это было интересно для Веры. Её удивляло многое в этой семье, в этом доме, в этом хуторе.

«Люди они были очень хорошие, труженики», – делая ударение на слове «труженики», любила вспоминать Вера семью Фридриха. Так она говорила обо всех людях, кто много работает. «Порядок, чистота у них в доме и во дворе, и животные ухоженные. На улице бумажки не валялось», – продолжала Вера, предаваясь приятным воспоминаниям.

Раньше в своей деревенской жизни она не встречала такого. В домах жителей её деревни, где она родилась и выросла, всё было по-иному. В их доме, как и в других, варили еду и ели в доме, спали все дети на полу, устеленном соломой, родители за занавеской, а бабушка Фёкла на печке. И всё это в одной комнате. А кроме того, в холодное время года, зимой в морозные дни брали в дом маленьких поросят, козлят, а то и телёнка.



*Вера на втором плане, в белом берете и белом шарфике.
Ней-Вальтер, 1940 год*



Вера. Ней-Вальтер, 1940 год

В Ней-Вальтере для скотины был выделен тёплый загон. Хозяйский дом, как потом узнала Вера, построил сам Фридрих. У всех домочадцев была своя комната и одна, которую они сдавали и куда их с подругой заселили. Вера узнала, что всё в доме Фридрих сделал своими руками: шкафы, столы и столики, стулья, диванчики и др. Вся мебель была сделана аккуратно и даже красиво.

Вера приступила к работе 29 июля 1939 года в должности акушерки при Ней-Вальтерской медлаборатории. От природы она была любознательна, добросовестна, трудолюбива. Всё было ей интересно, и профессию она осваивала с радостью и быстро.

Времена были нелёгкими, часто не было дров, чтобы отапливать больницу, и Вера вместе с другими сотрудниками ездила в лес за дровами. Одежды тёплой было мало, а самое главное, не было валенок. В одной из таких поездок Вера отморозила большой палец на правой ноге, так как обута была в солдатские сапоги. Палец на ноге ей удалось спасти, а вот ноготь на этом пальце напоминал ей о заготовке дров и в глубокой старости.

Работа Вере, по её словам, нравилась. Тогда женщины рожали много, и отдыхать на работе было некогда. Роженицы поступали одна за другой, и не только из Ней-Вальтера, но и из соседних деревень и посёлков. А в последний день её работы она приняла 18 родов. Это было самое большое число деток, которых она приняла в один день за три года работы в Ней-Вальтере. За все годы акушерства Вера ни разу не использовала щипцы. «Вижу, – вспоминала она, – ребёнок идёт не так. Я мыла руки и выправляла положение ребёнка – и все детки, слава Богу, рождались живыми и здоровыми».

Всё в её жизни той поры было хорошо, и вдруг случилась беда, несчастье в доме, где она жила, у людей, которых любила.

У Фридриха было правило ежедневно поздним вечером обходить все комнаты своего дома. И вот однажды, заглянув в детскую комнату, он услышал странный хрип. Подойдя к кровати Эдварда, он увидел текущую изо рта сынишки пену сине-розового цвета. Фридрих громко закричал, и на его крик сбежались все. Вера предложила немедленно отнести мальчика в больницу. Фридрих схватил Эдварда на руки и побежал. Вера бросилась следом и видела, как безжизненно свисают руки ребёнка. Больница была рядом, но спасти Эдварда не удалось.

Как потом выяснилось, смерть наступила от отравления химическим карандашом, его стержнем. Эдвард любил рисовать, слюня-

вил карандаш во рту. Родители знали об этом, но не предполагали, что это опасно. Возможно, что частичку стержня мальчик проглотил. Как бы там ни было, случилась страшная трагедия, и переживали её тяжело.

Многое изменилось в доме, в нём поселилось горе.

«Пришла беда – отворяй ворота», – говорят в народе. Вскоре умерла бабушка. Её похоронили рядом с Эдвардом на Ней-Вальтерском кладбище. Прошло немного времени, и началась война (22 июня 1941 года).

Всех немцев – а в Ней-Вальтере это практически всё население – стали вывозить на подводах в неизвестном направлении, вывезли и семью Фридриха, разрешив им взять одежду и самое необходимое, что смогут сами унести. И так каждую семью. Страшно было смотреть, как люди покидали родные дома, плач и крик заполнили хутор. Плакала и Вера, для неё всё это было сильным потрясением, но она утешала себя, что это ненадолго.

Ней-Вальтер опустел, на улице людей не было, и только слышались лай собак, мычание коров. А через несколько дней по безлюдному городу ходили, бегали, бекали, мычали, лаяли голодные животные, оставленные хозяевами. «Картина страшная», – вспоминала Вера.

Потом из соседних деревень стали приезжать люди и забирать животных, и в той ситуации это было хорошо.

В Ней-Вальтере осталось немного специалистов, и больше никого. Некоторые пустующие дома немцев занимали приезжие из других мест, работали больница, почта, администрация и др. За несколько месяцев Фридрих прислал Вере два письма, и она им два отправила. Потом власти запретили переписку. Куда переселили семью Фридриха и откуда приходили письма, Вера уже не помнила, и их письма не сохранились.

Летом 1941 года Вера написала заявление в военкомат. Она просила, чтобы её отправили на фронт, но её вызвали в райздравотдел и спросили, писала ли она заявление об отправке на фронт? Она сказала, что писала. «А ты знаешь, что такое война, фронт? Там оторвут тебе руку, ногу, сделают калекой на всю жизнь, а может, и сразу убьют...» Порвали моё заявление, показали на дверь и сказали: «Иди и работай».

Вера решила, что если её не отпускают на фронт, то ей надо учиться. Она мечтала быть хирургом и стала просить её уволить, но девушку всячески удерживали, тогда она написала письмо-заявление министру здравоохранения, где просила помочь ей уволиться, чтобы поступить в Саратовский медицинский институт. После этого в райздравотдел пришло письмо из министерства с предложением уволить Честнову Веру в связи с поступлением на учёбу.

Во второй половине сентября 1942 года за Верой приехал на подводе отец Филипп Петрович. Вера собрала все свои вещи и кроме них погрузила на подводу стол и стул из комнаты, где она жила в доме Фридриха. По меркам мирного времени это нехорошо, но тогда, во время военного хаоса, когда все дома немцев были разграблены,

этот поступок не казался Вере плохим, ей были нужны эти предметы быта, и хотелось взять с собой частичку этого дома, на память о том времени, когда было хорошо.

Неизвестно, куда делся стул, а вот стол Фридриха до сих пор сохранился в нашей семье. Он как память о тяжёлых днях в жизни мамы, её семьи, семьи немца Фридриха и людей того времени. В чудовищных событиях тех лет столик чудом сохранился. Он много лет стоял в сарае сестры Веры в Саратове. Примерно в 2005 году дочь Веры, зная историю стола, привезла этот столик («с пузом» – его так называли) в Москву. А через несколько лет она потрудилась над ним: ободрала пришедшую в негодность ткань зелёного цвета, вымыла его всякими химическими растворами, почистила шкуркой, а затем покрасила весёлыми красками и нарисовала на нём, как могла, цветочки и летящий пух.



«Стол Фридриха»

Иногда я думаю: вот найти бы внуков Фридриха, детей его дочери Гульды, рассказать эту историю, показать, а может, и подарить им столик, сделанный их дедушкой. Конечно, никакой материальной ценности стол не представляет, но за ним судьба людей, которым он принадлежал. Что стало с ними?

Какой это ужас – война! Какие страдания она несёт людям, животным, растениям – всему живому, земле-матушке! И когда думаешь об этом, или смотришь фильм о войне, или слушаешь новости, всегда говоришь: «Господи, спаси и помилуй нас, ныне живущих...»

После депортации немцев и заселения бывшей колонии беженцами из других регионов страны в конце мая и начале июня 1942 года были переименованы в честь революционера Я. М. Свердлова сначала район, а затем и сам населённый пункт Ней-Вальтер.

Современное село Свердлово (ранее – п. Ней-Вальтер) является центром одноимённого сельского поселения. В селе проживают несколько сот человек (в 2010 году – 552 человека), имеются фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, дом культуры и библиотека, детский сад и средняя общеобразовательная школа в двухэтажном здании со спортзалом. Расположенная в центре Свердлово бывшая лютеранская кирха до сих пор привлекает внимание всех, кто подъезжает к селу.

В советские годы в здании кирхи, которое сохранилось практически в неизменном виде, располагалось административное учреждение, затем оно было передано под библиотеку и Дом культуры. Церковь чудом уцелела. Её не разломали и не разобрали на стройматериалы, как другие лютеранские и католические церкви района. Сейчас в ней зернохранилище местного фермера. Внутри сохранилась роспись на деревянном потолке, а на своде, над местом, где когда-то располагался алтарь, ещё видны золотые звёзды на бледно-голубом фоне. Ещё из старых зданий в селе за кладбищем сохранилось одноэтажное здание из красного кирпича, это на самом краю деревни. Что это было, точно не знают. Может быть, зернохранилище (т.к. нет окон, только двери) или склад. Старое немецкое кладбище летом зарастает бурьяном. При желании можно разглядеть длинные ряды бугорков и холмиков – это могилы, 3–4 надгробные плиты, почти ушедшие в землю, на одной можно различить немецкие буквы.

Вера приехала в Саратов и была зачислена без экзаменов на первый курс мединститута, на терапевтическое отделение лечебного факультета, но проучиться ей пришлось только один семестр. Она бросила учёбу и устроилась на работу: причиной стал голод. Семья просто бедствовала. Устиния Васильевна, её мама, не могла работать, отец Филипп Петрович заболел, за ним надо было ухаживать. Старшая сестра Шура вышла замуж и жила в деревне, сестра Клавдия училась на фельдшера. Брат Василий, ему было 19 лет, работал на авиационном заводе, и с завода его и других ребят, да и почти всех рабочих, не отпускали домой неделями. В цехах и спали, и что-то ели, что давали. Хлебом им платили за работу. Завод этот (№ 292) производил легендарные истребители Великой Отечественной войны «Як-1» и «Як-3». Средний брат Пётр



*Пётр и Володя.
28 февраля 1944 года*

(ему было 15 лет) работал на водокачке, заправлял водой паровозы, идущие на фронт. Поскольку оба брата трудились на важных для военного времени предприятиях, ни Василия, ни Петра не призвали в армию. Младшему брату Владимиру было 12 лет, и он учился в школе.

К концу 1942 года стало ясно, что, кроме Веры, семью никто не спасёт. «Я сердцем чувствовала, что обязана кормить семью», – говорила Вера.

По совету знакомой она устроилась на маслозавод. Сначала работала фильтровщицей, затем закладчицей. По словам Веры, это очень тяжёлая работа. Горячая мята из семян подсолнуха весом 20–24 килограмма укладывалась на противень, и такие противни надо было таскать по всему большому цеху до пресса в течение всей смены, но Веру это не пугало. Она и все в семье Филиппа и Устинии были приучены трудиться с детства и выживать.

Военные годы были голодными, и все люди, у которых была возможность взять тайком на производстве какие-то продукты или какие-то предметы, а потом их обменять на продукты, делали это, несмотря на опасность. Делала это и Вера, но с крайней осторожностью.

В цехе работали в основном одни женщины, они часто обжигались и надрывали свой организм непомерной тяжестью в горячем цеху. Но в то время, как говорили в народе, «овчинка стоила выделки».

Жмых, ядрышки, семечки спасли семью Веры. А ещё спасибо лузге (кожура от семян подсолнуха): её выписывали работникам завода и ею топили печки в домах. Для этого делались специальные форсунки и использовался металлический прут, которым проталкивали лузгу из форсунки в печку.

Жмых (это отбросы производства подсолнечного масла, в хорошие времена шедшие на корм скоту) спас жизни многих, в том числе и семью Веры. Конечно, жмых рабочим не выдавали. Они тайком ели его во время работы, а особенно вкусные места – краешки пластин (в них было масло), выходящие из пресса, собирали в маленькие мешочки и тайком выносили с завода. Воровали. И так делали все, несмотря на большую опасность. Кому-то и не везло: их ждали арест и суд по военному времени. Веру это лихо обошло. Жмыху в её семье пели оды, и дети Веры, родившиеся уже после войны, знали о жмыхе, хотя его не ели, но на вкус пробовали.

Жуткий страх Вера испытала на заводе в «рушке» (это цех, где с семечек сдирается шелуха). «Набираю я ядрышек в свой мешочек, размером примерно 20 на 25 сантиметров, – говорит Вера, – а тут идут замдиректора завода Куликов и кто-то с ним. Я онемела, смотрю на него, а мои руки по инерции продолжают набирать ядрышки. Куликов прошёл мимо меня молча, а я, обезумевшая от страха, не могла опомниться от случившегося. Спасибо ему я про себя говорила всю жизнь и сейчас помню его доброту. Ведь всё могло бы быть по-другому. Суд, наказание, беспомощные родители, братья, сестра. Ужас! Как я жила в годы войны и после неё – страшно вспоминать до сих пор. Господи! Как я всё вынесла? Несколько лет нечеловеческого страха».

Во время войны был и такой случай. Вера работала в цехе и вдруг увидела и услышала, как рабочие взволнованно что-то обсуждают. Она подошла к ним и узнала, что приехала из колхоза машина с семенами подсолнуха. В этой же машине в кабине шофёра сидела женщина, а сейчас она лежит у машины и кричит. Вера побежала из цеха в заводской двор к этой женщине. Оказалось, что у неё начались роды. И Вера помогла роженице. Она приняла роды прямо на земле у машины. Родился хороший мальчик. Кто была эта женщина и как её звали, Вера не знала, но случай этот она хорошо помнила даже в глубокой старости.

...Много разных историй, связанных с маслозаводом, вспоминала Вера, обо всём не расскажешь, но об одной, печальной, я поведаю.

Произошло страшное событие.

Однажды Вера на территории маслозавода увидела красивую металлическую штучку, похожую на маленькую указку или на авторучку, и она принесла её домой, подумав, что пригодится в хозяйстве. Через некоторое время Вера выбросила эту блестящую железку за забор. Сделать это заставило не только какое-то внутреннее чутьё, но и мысль, что это не пригодится. Устиния Васильевна нашла эту гладенькую блестящую железку, решив, что её сделал на заводе её сын Василий, работавший токарем, и принесла в дом.

Спустя какое-то время эта железка попала в глаза младшему сыну Устинии, школьнику Владимиру (ему было 16 лет), и он решил из неё сделать ручку. Он пытался засунуть в кончик железки пёрышко от ученической ручки, но у него ничего не получалось, и тогда он взял большую иголку и стал делать отверстие для пера – ковырять кончик красивой железки. Василий сидел с ним в одной комнате, он занимался каким-то своим делом. Случайно увидев, что делает Владимир, Василий крикнул ему: «Бросай!» Володя махнул рукой – и раздался взрыв. Василий физически не пострадал. Володю поместили в больницу, и когда Вера прибежала туда, она не узнала своего брата. Он был весь в ожогах, болячках, весь распухший, и вместо левой руки у него висела перебинтованная культя.

Оказалось, что красивая блестящая штучка была запалом к какому-то оружию, и к тому же в этом запале были химические вещества.

Вот такую трагедию пришлось пережить семье в первый послевоенный год. Вера всю свою жизнь переживала душевную боль за случившееся.

Она была кормилицей семьи и в военные, и в послевоенные годы. Каждый год на заводе рабочим выделяли участки под бахчу (землю для посадки арбузов и дынь) на берегу Волги, и там она тоже работала одна. Вера не жалела себя и работала как лошадь, до упаду. Благодаря своей самоотверженности она подняла семью. Все её братья и сестра Клавдия встали на ноги, как говорят в народе. Мать Веры, Устиния Васильевна и сестра Клавдия всегда говорили: «Если бы не Вера, мы бы не выжили».

Володя окончил школу, поступил в политехнический институт, стал инженером и оказался очень талантливым человеком. В юности он занимался фотографией, затем начал рисовать пейзажи, портреты.



Володя

Рисовал и красками, и карандашом. (Он много чего сделал впоследствии сам и одной правой рукой: несколько лодок, трактор, владел сварочным аппаратом, выделывал шкуры животных, шил дублёнки, ремонтировал любые часы. Всего не перечислить.)

Жизнь Веры никогда не была лёгкой, но она не роптала и не унывала, всегда трудилась, помогала своим близким. По натуре она была очень доброй и щедрой. Вера никогда не жаловалась, что у неё что-то не так или что-то болит. Бывало, приляжет на диван, и все понимали, что ей нездоровится, но на все вопросы – что болит, где болит – отвечала: «Ничего не болит. Я просто устала». И весь разговор.

Человеком большой силы воли и ответственности была Вера. В ней было что-то стоическое. Этот человек, с которым... «можно было идти в разведку».



Вера

СЕМЬЯ И ВРЕМЯ

Моя бабушка по материнской линии – Устиния Васильевна, до замужества Щербакова. Родилась она 24 сентября 1888 года. Её отец – Василий, мать – Анна, оба из крестьян. В 1891 году их семья, как и все семьи крестьян, страдала от голода, который разразился по всей Саратовской губернии. Последствия голодного времени отразились на здо-

ровье и жизни людей, заболела и мать Устинии.

Она умерла в 1900 году, когда Устинии было 12 лет. Воспитывала её бабушка, имя которой, к сожалению, как и многое другое, неизвестно. У Устинии было два брата – Дмитрий (Митя) и Тимофей (Тимошка). Через несколько лет отец Устинии женился второй раз на Марине, но звали её все Маланьей. В 1910 году у них родился мальчик. Назвали его Фёдором. Так у Устинии появился третий брат.

Устиния и её братья родились в деревне Андреевка Кистендейского района Саратовской губернии. Деревня эта считалась большой, и жители деревни по каким-то причинам разделили деревню на шесть частей, и каждой из них дали название: Колигаевка, Крутец, Моховая (здесь был барский сад, между склонами в овраге был чистый ручей, где собиралась молодёжь – играли, пели песни, водили хороводы. Всем было весело. Кто-нибудь скажет: «Светит месяц – дай рублей десять, а солнышко – пятачок», и все смеются). Остальные названия были такими: Жопинка, Крикуновка, Ерзовка, а рядом была деревня Беловка.

Вспоминая это, мама всегда смеялась и говорила, что в молодости эти названия не казались смешными. А я радовалась, потому что смеялась моя мама и мне было приятно слышать её смех.

Когда Устинии было 16 лет, в дом её отца пришли родители Филиппа посмотреть на будущую невестку. Устиния в это время прыгала на одной ножке от речки до дома и обратно, играла. Увидев это, мать Филиппа спросила: «Что? Это наша невеста?»

Филипп был тоже молод, он был рождён, как и Устиния в 1888 году, но на тот момент ему исполнилось 17 лет, а ей ещё нет. Семья Филиппа (их фамилия – Честновы) жила в Андреевке и хорошо знала семью Щербаковых.

Через год Устиния вышла замуж за Филиппа и стала Честновой. Их брак зарегистрирован 5 ноября 1906 года. Жили Устиния и Филипп в доме родителей Филиппа – отца Петра и матери Фёклы Степановны. Дом у них был хороший по «андреевским меркам» – сруб, крытый железом, и семья крепкая, работающая. Свекровь у Устинии оказалась замечательной, приняла её в дом и стала матерью. Кроме Филиппа в семье было ещё двое детей – сын Михаил и дочь, умершая в молодости.

Брат Михаил стал ветеринаром. Филипп примерно четыре года заведовал «чайной» в Ртищеве. Это в 25 километрах от деревни Андреевка. Устиния иногда ездила к нему.

Однажды в 1917 году, будучи беременной, она приехала к мужу и чуть не родила в «чайной». Как позднее рассказывала Устиния, случилась в Ртищеве «революционная заваруха» (стрельба, погоня и т. п.), и она от страха спряталась в туалете, но, слава Богу, всё обошлось.

Позднее семья Филиппа жила частным хозяйством. Был у них участок земли, сами пахали, сеяли, убирали. Имелись своя лошадь, одна корова, пять овец, свиньи, куры и пр.

В 1929 году отобрали лошадь, корову и овец – всё в колхоз им. Крупской. К этому времени Устиния родила 12 детей, шестеро из них умерли в младенчестве, а остальные шесть (три дочери – Александра, Вера, Клавдия, и три сына – Василий, Пётр, Владимир) выжили, жили долго, а двое сыновей – Пётр и Владимир до сих пор здравствуют.

Жить стало трудно и практически невозможно. По словам Устинии, «колхоз замотал». Председателем колхоза была коммунистка Шальгина Анна Сергеевна (гермафродит). Шальгина «женилась» на односельчанке Татьяне. Жили по соседству. Один раз Устиния и её дети слышали, как Татьяна кричит Шальгиной: «Завтра топить печь нечем». Тут Шальгина вгорячах схватила топор и стала рубить колхозные сани, на которых сама и ездила. По словам Устинии, а впоследствии её дочерей: «Вот так она и хозяйство вела».

Глядя на «новые порядки», Михаил, брат Филиппа, уехал со своей семьёй из деревни в посёлок Примерный, это в 12 километрах от Андреевки. Филипп решил последовать за ним. Поля, на которых работали, были ближе, и Филипп видел в этом преимущество. В посёлке Примерном тогда было 32 дома.

Филипп (отца его к этому времени не стало) продаёт свой хороший дом и покупает «неважный» домик в п. Примерном. «Неважный» – потому что «мазанка» и крыт соломой. Однако был большой плюс у этого дома: он находился под одной крышей с подсобным помещением для скота. Переезжали в п. Примерный, когда младший их сын Владимир был грудным.

Опять завели корову, овец, свиней и другую живность. Филипп и старшие его сыновья работали в поле, зимой Филипп был конюхом, какое-то время охранял семенное зерно. Позднее он окончил курсы комбайнёров и стал летом работать на комбайне, первом появившемся в их колхозе. На колхозных собраниях Филипп всегда был секретарём и вёл протокол, ибо он был грамотным и очень красиво писал.

В колхозе работала и Устиния. Она была и свиаркой, и поваром, и хлеб пекла. Пекли хлеб и другие, но все любили «Устюшкин» хлеб.

В посёлок Примерный переехали, надеясь, что жизнь там будет полегче, получше, но оказалось, что «хорошо там, где нас нет».

Деньги за работу не платили, ставили трудовни, налогами облагали страшно. Надо было отдать весь приплод, а это почти всю скотину, почти всё коровье масло и шерсть (после стрижки овец). Жили бедно. Колхоз разваливался на глазах.

На уборке урожая все крестьяне воровали зерно, прятали в карманы и куда придётся. Того, кто попадался с такой мелкой кражей, судили, наказывали, но людей это не останавливало. Филипп Петрович со старшим сыном Василием сделали мельницу и из ворованного зерна делали муку по ночам. К утру мельницу прятали в кусты у речки, а зимой – в снег. Боялись обыска.

По словам Веры и Клавдии, мельницы делались так. Брели два чурбака, т. е. два пенька. Внутренние стороны пеньков набивали чугунными пластинками, примерно как гвоздики по три сантиметра, их вбивали в пеньки, оставляя сверху 0,5 см, и расстояние между ними 0,5 см. В верхнем пеньке делали отверстие диаметром 10 см и туда сыпали зерно. К верхнему пеньку приделывали ручку из металла и крутили. В нижнем пеньке делали язычок (выемку) для спуска муки грубого помола. Из неё пекли хлеб и варили кашу. И такие мельницы-самоделки были в каждой крестьянской семье, в каждом доме, и все тайком мололи зерно по ночам.

Филипп Петрович был статный, высокий, красивый человек. Он служил в царской армии в Петрограде, был писарем. Все его фотографии в военной форме уничтожили, когда началась коллективизация. Боялись.

Вера и Клавдия говорили: «Уничтожили все фотографии отца в военной форме, когда началась эта катавасия» (так они называли революционные и последующие за ними события).

Но случилось так: когда рвали и жгли фотографии, трое детей, в том числе и Вера, спрятали, не сговариваясь, по одной фотографии отца. Много лет спустя оказалось, что они в целостности и сохранности – на радость всей семье. Правда, одна из них, где Филипп Петрович был со своими однополчанами, впоследствии пропала. Но две-то сохранились, и спасибо непослушным детям Филиппа!



Филипп Петрович Честнов

Примерно в 1936 году в деревню приехал фотограф, Филипп решил собрать всю семью и сфотографироваться на память. Фотограф сделал снимок всей семьи, а затем снимок родителей. Через некоторое время фотограф принёс только одну фотографию, где Филипп и Устиния. На снимке случайно оказался их пёс Волчок, а сзади, с правой стороны, — лицо сына Петра, выглядывающего из-за занавески. Первый снимок, где вся семья, не получился. И больше всех об этом жалел Филипп, а теперь и мы, его внуки и правнуки.



Устиния и Филипп, их сын Пётр, выглядывающий из-за занавески, и пёс Волчок

ГОЛОД

В 1933 году был страшный голод. Случился неурожай. Не было ни хлеба, ни картошки. Ели тыквенные, картофельные и другие очистки, ничего не выбрасывали, всю траву поели. За травой ходили за несколько километров от дома. Был и ещё один продукт питания, «который не вычеркнешь из памяти», как говорили Вера и Клава. Запрягали корову, приспособливали к ней телегу-колымагу, в которой была бочка, и ехали 25 километров в город Аткарск за «баржей», как назывался завод, где изготавливали водку, а может, и другие спиртные напитки. Все отходы производства сбрасывались и сливались в большую яму. Вот за этим-то «добром» и ездили крестьяне из посёлка Примерный, из деревни Андреевка, видимо, и из других деревень Аткарского района.

Приезжающие туда люди подходили к этой яме и босиком спрыгивали в неё, держа в руках специальный предмет, который называли «медотка». Это палка, к ней привязывали мешок из полотна. И вот таким нехитрым инструментом вылавливали из ямы всю «крутизну» (типа густого киселя.)

Вот и наша Устиния Васильевна вместе со своей старшей дочерью Александрой ездили в Аткарск за таким «продуктом». Пойманную в яме жижу-крутизну они, как и все, отжимали в мешках, которыми и ловили её. Получившиеся сгустки клали в бочки.

Из этой «бурды» варили суп «ритатуй», добавляя туда траву, отруби. Ну а если была мука, то добавляли её, и получались котлеты.

«Ужас как жили!» – вспоминала Вера, дочь Устинии. «Я помню, – говорила она, – мама раздавала нам такие «котлеты» – по цвету как земля, и мне попалась котлета, в которой сбоку торчал большой пырей. Он опоясал всю котлету. Я всё съела. Зубы были хорошие, но это я запомнила на всю жизнь».

Несмотря на голод, в хозяйстве была длинноногая, серо-дымчатая корова. Молока она давала мало, но в семье были дети, поэтому корову берегли.

«У домов не было ни одной травинки – всё съели. Спасибо траве», – всегда говорила Вера, рассказывая о том времени. А её брат Василий никогда не постился и постоянно говорил: «Мы в детстве отпустились».

У Александры первым мужем был Лёня Сорокоумов. Родился у них сын Вовочка. В 1933 году ему было полтора года, и он умер от голода. Ели всякую ботву, траву и разное непотребное для организма. Молока у Александры не было, жила она с мужем в деревне Молодёнки, что в километре от Андреевки.

В их большой семье получилось так: когда у Александры в 1933 году умер малыш, её мать Устиния была беременна, и в этом же 1933 году родила мальчика. Роды принимала, как и все ранее, её свекровь, Фёкла Степановна. Мальчик родился вяленький и через несколько минут умер. Назвали его Егорушкой и похоронили.

Филипп Петрович говорил своей матери Фёкле Степановне: «Ну как же вы, мамаша, недосмотрели?» И сокрушался Филипп Петрович и от жалости к умершему ребёнку, к жене Устинии, кото-

рая была едва жива, и от жалости к самому себе, и от обиды, что не получают теперь они две тысячи рублей, которые выдавали тогда на седьмого ребёнка.

Сестра Веры Клавдия, рассказывая эту же историю, говорила: «Папа всё время приговаривал и плакал: «Да батюшки, да что же вы не спасли? Да как же это?» А мамаша, как бы оправдываясь, говорила: «Он дыхнул два раза, и всё».

После этого рассказа Клавдия глубоко вздыхала от тяжёлых воспоминаний и говорила: «Да, беднота, Господи, голод, вот и не выжил».

Я и сейчас (21.12.2015 г.) переписываю всё это из блокнотов в большую тетрадь и плачу.

ПЕРЕЕЗД В САРАТОВ

В конце 30-х годов Филипп Петрович понимает, что жизнь в деревне невозможна. Он отправляет дочь Веру в Саратов для учёбы в медицинском училище. В 1939 году сын Василий едет в Саратов и с 1 октября 1939 года начинает работать на заводе «Трактор-деталь». Жил он у родственников, в семье Александры Васильевны Рубиной, двоюродной сестры Филиппа Петровича.

В начале 1941 года Филипп и Устиния, измученные тяжёлым трудом, голодом и разными притеснениями тогдашней жизни, решают окончательно уехать из деревни. Дождавшись хорошей погоды в мае, они вышли из дома в посёлке Примерный вместе со своей коровой и пошли в Саратов. Они рассудили, что в Саратове им дадут хорошую цену за их бурёнку, ведь она давала по ведру, 10–12 литров, молока, и молоко было вкусным, и жирность его была хорошей – 5 процентов. Жалко было продавать корову-кормилицу, сердце сжималось от одной мысли, что надо с ней расстаться. Устиния плакала, но задумали они круто изменить свою жизнь, а «особливо» помочь детям, переехав жить в Саратов.

Шли Устиния и Филипп со своей коровушкой до Саратова четыре дня. На Сенном базаре к корове приценились незнакомые им люди, проживавшие в Агафоновке. Идти туда неблизко, но упускать покупателей они не хотели. Они были уверены в своей корове, знали, что их бурёнка понравится. Договорились так: они оставляют им корову до утра, если после дойки они будут довольны, то сразу отдадут им деньги за корову. На ночь остановились у двоюродной сестры Филиппа Петровича, Александры Васильевны, где жил и их Вася. Наутро Филипп с Устинией пришли к дому, где оставили корову и сразу получили оговоренную сумму денег, рассчитались, и все остались довольны.

Вернувшись домой, они продали свой домишко и всех мелких животных и на время поселились в доме брата Филиппа Петровича, Михаила Петровича.

Филипп Петрович с вырученными деньгами от продажи всего движимого и недвижимого имущества отправился в Саратов, чтобы купить там какой-нибудь домик. Ему удалось, как он говорил, купить



*Старый домик на ул. Рахова – дом № 195,
у школы № 21*

«хибарку», т. е. часть дома на улице Рахова, дом № 195. Хибарку купил у Тимофея Ивановича Сякина. Однако дня за два до того, как купить этот домик, он присмотрел другой на улице Чапаева, в районе Глебучева оврага, и оставил хозяину дома небольшой задаток. На следующий день он случайно узнал, что продаётся часть дома около Сенно-

го рынка. Филипп Петрович сразу же отправился к этому месту и, когда подошёл туда, сразу про себя решил, что жить они будут здесь.

Ему понравилось это место, эта широкая улица – улица Рахова. Часть дома, которую продавали, была небольшой, и крыша этой части дома была ниже, чем у остального дома, но внутри домика оказалась хорошая планировка. Домик был уютным и удобным. Из сеней вход был в кухню, а из кухни одна дверь вела в изолированную спальню, другая – в маленький зал, но с двумя окнами и дверью во вторую спальню. Пуще всего понравилось Филиппу Петровичу то, что за забором двора, где стоял домик, была хорошая кирпичная школа. Он всегда думал о своих детях. Оценил он и то, что рядом базар. «Базар – это жизнь, – говорил он и повторял: – Золотое место». И его семья всегда была благодарна за выбор отца.

Василия, жившего у Александры Васильевны, сразу поселили в этот домик, а Филипп Петрович вернулся в п. Примерный, и стали они с Устинией готовиться к отъезду. Прежде всего Филипп Петрович пошёл к директору МТС узнать, когда пойдёт автомашина в Саратов. Ему сказали, что машина в Саратов пойдёт завтра или послезавтра и что за ними обязательно заедут.

Устиния собрала в узлы все пожитки, и вся семья стала ждать машину, которая повезёт их в Саратов, в город, в «новый» дом, неведомую доселе жизнь. Устиния и Филипп волновались. Непростое это дело – переезжать, а тем более уезжать из родных мест. А дети – Клава, Петя и Вова – с радостью ждали приезда машины, поездки в Саратов, где они никогда не были. Трое других детей были уже при деле. Старшая их дочь Александра была замужем и жила в деревне у мужа. Средняя дочь Вера работала акушеркой в Ней-Вальтере, окончив Саратовское медицинское училище. Старший сын Василий уже почти два года жил и работал в Саратове. А свою любимую мамашу Фёклу Степановну, мать Филиппа Петровича, Устиния и Филипп похоронили несколько лет назад.

Наступило и прошло «завтра». Прошло и «послезавтра». На третий день Филипп Петрович пошёл на железнодорожную станцию и там

узнал, что началась война. Он пришёл в дом брата, где они коротали время до отъезда, и говорит Устинии: «Ну, мать, мы пропали!»

Устиния: «А чё это?»

Филипп: «Война».

Устиния: «Кака-така война, не слыхала...»

Филипп: «Немец на нас напал. Теперь в Саратов не попадём. Всё продали, что будет, не знаю... На железной дороге эшелон за эшелон с техникой, с эвакуированными людьми. Плач. Крик. Ужас».

От известия Филиппа Петровича страх охватил всю семью. В доме воцарилась гробовая тишина, лишь изредка Филипп Петрович тихо о чём-то говорил со своим братом Михаилом.

Но на следующий день пришла машина. Побросали узлы в кузов, туда же залезли дети и Филипп Петрович, а Устинию посадили в кабинку и поехали.

В пути никого: ни людей, ни автомашин. Тишина и страх. Страх за жизнь, страх, что в Саратов их не пропустят. Около г. Аткарска военный патруль остановил машину, проверили документы, заглянули в кузов и сказали: «Проезжайте».

Автомашина, в которой ехала семья Филиппа Петровича, проехала мост и остановилась. Решили заночевать здесь, у речки, чтобы утром подбехать к Саратову. И примерно в обед они были у своего дома, своей хибарки.

С июля 1941 года Василий переводом был принят токарем на завод № 292 (авиационный), где и проработал всю свою жизнь. «28.12.1999 г. уволен в связи со смертью» – записано в его трудовой книжке.

Василий полтора года был кормильцем семьи до той поры, пока не приехала из Ней-Вальтера и не устроилась на работу Вера. Пётр и Володя стали учиться в школе. Клавдия поступила в медицинское училище на фельдшерское отделение. Проучилась два года, но фельдшером так и не стала.



*Улица Рахова.
Школьный забор из металлических прутьев.
Вера с дочерьми у калитки дома
Устинии Васильевны*

ТЕЛЕГРАММА

Филипп Петрович прихварывал, но в марте 1944 года задумал съездить в деревню к Шуре. Ехать решил, когда сойдёт снег, в конце марта. Ему хотелось помочь по хозяйству старшей дочери, которая осталась с малышкой в Андреевке. Её второго мужа Ивана Гавриловича Ревякина, деревенского гармониста, взяли на фронт. В дом Шуры поселили откуда-то эвакуированную еврейскую семью. Женщину звали Марией, а имён трёх её сыновей Филипп Петрович и Устиния не знали.

За несколько дней до отъезда он затеял разговор со своей женой Устинией. Говорили они о делах семейных, делах неотложных. Надо было купить ребятам какую-то обувь «на грязь», а ребят было шестеро: трое сыновей – Василий, Пётр, Владимир, и три дочери – Клавдия, Вера и Александра.

Думал Филипп Петрович о детях всегда, но в последнее время больше всего переживал за Василия, за своего старшего сына. Ему было 20 лет. Последние три года он работал на заводах – «Трактордеталь» и авиационном. С первого на второй оформлен был переводом. С завода не выпускали по несколько дней, а когда парнишка приходил, быстро ел, что было, и валялся спать, а утром опять на завод. Василий сильно исхудал за то время, что работал на заводе. Вид у него был измождённый, и отец жалел его больше других. Из-за небольшого роста и худобы на вид Василию больше 14–15 лет и не давали.

Поговорив с Устинией о том о сём, он вдруг сказал: «Я уеду, а через месячишко дам телеграмму вам с такими словами: «Приезжайте, отец умер».

– Что ты, что ты, Филя! – вскрикнула Устиния. – Бог с тобой!

– Устинья! – Осёк её Филипп Петрович. – Я знаю, что говорю. По этой телеграмме Васька отпустят с завода, и ты проводишь его ко мне в деревню. А там уже и тепло будет, трава пойдёт, и корова есть. Мы его с Шурой немного отпоим молочком-то, даст Бог, он и поправится.

Отец сказал, значит, так и будет. Он всегда был прав. Так было в их семье. Устиния никогда не перечила мужу.

Немного погодя она спросила: «А как же такую бумагу сделать-то?» На что Филипп Петрович ответил: «Мать, об этом не волнуйся, Козлов, деревенский врач, подпишет мне телеграмму. Кому сейчас в этом копать? Столько горя, столько смертей... Надо сделать! Василия можем потерять».

С этим он и уехал в деревню.

Через месяц с небольшим Устиния получает телеграмму: «Умер отец, приезжайте».

Хорошо помня разговор с мужем, Устиния припрятала телеграмму и решила пока никому ничего не говорить. В её голове тоже был план.

Дело в том, что всем рабочим на авиационном заводе, где работал сынишка Вася, давали участки земли на 3-й Дачной под посадку картошки. Василию тоже обещали. И дать должны вот-вот, со дня

на день. По её разумению, получит участок Вася, тогда она ему всё и расскажет и даст эту телеграмму, по которой его отпустят с работы. Нельзя же упускать участок. Посадим картошку, живы будем.

Прошло два дня, и Устиния увидела во дворе незнакомого парнишку. Она вышла и спросила незваного гостя, кто он, откуда и зачем он тут. Незнакомец сказал, что зовут его Василием, что из деревни он, что его с матерью и двумя братьями откуда-то эвакуировали и поселили в деревне Андреевка в дом к Шуре.

Устиния пригласила его зайти в дом. Переступив порог, он спросил: «Получали ли вы, тётка Устиния, телеграмму?» Услышав это, Устиния съёжилась, приложила палец к губам и тихонько сказала ему: «Не шуми, не шуми, тише-тише». Мол, я знаю, знаю, как надо.

Приехавший мальчик плохо понимал её и тоже тихонько сказал: «Филипп Петрович умер. Мы с Шурой похоронили его. Она и попросила меня съездить к вам, узнать, что случилось, почему не приехали».

Вот такая история смерти моего деда Филиппа Петровича Честнова, 1888 года рождения.

Во время войны умерла и маленькая доченька их бедной Шуры.

НОВЫЙ ДОМ

Прошло почти три тяжёлых года с начала войны.

Много разных печальных событий произошло в семье, и одно из них – смерть Филиппа Петровича в апреле 1944 года. Ему было всего 56 лет. Несмотря на то, что у него болели желудок и сердце, Филиппу Петровичу очень хотелось помочь своей старшей дочери. У неё родилась дочка, а муж был на фронте. Филипп Петрович поехал в деревню к Шуре.

Мужиков в деревне было мало, да и толку от них было столько же по причине их старости, младости или болезней. Председатель колхоза хорошо знал Филиппа Петровича и попросил его хоть какое-то время поохранять склад с зерном. Филипп не мог отказать, увидев страшную деревенскую жизнь. Он приступил к работе, вместо того чтобы помогать Шуре. Вскоре он сильно простудился и слёг. Отчего наступила смерть, никому не известно. Похоронили его без Устинии и детей, которые были в Саратове.

Смерть Филиппа Петровича произошла при каких-то мистических обстоятельствах. В это трудно поверить, но произошло именно так. Он сам сказал Устинии, уезжая в деревню, что даст телеграмму: «Отец умер».

Но жизнь продолжалась. Надо было выживать. Послевоенные годы были трудными, и, чтобы помочь семье, сыновья Филиппа, Владимир и Пётр, сами сконструировали и смастерили чесальный станок. На этом станке можно было чесать овечью шерсть. Этот станок они изготавливали в сарае, который был во дворе их дома.



*Евгения, 1924 г.р.,
и Лидия, 1922 г.р.*

Родственники, проживавшие в деревне, с радостью приезжали к ним с мешками шерсти. Они ехали на попутных машинах, чтобы на их станке почесать скопившуюся после стрижки овец шерсть. Затем уже в деревне спрясть из неё пряжу и связать кому свитер, кому носки и прочие нужные в жизни вещи, которые они не могли купить по причине своей бедности или отсутствия их в магазине.

В каждом деревенском доме была прялка, но из нечёсаной шерсти очень трудно прясть нитки, они получались толстыми и очень неровными. Поэтому, узнав, что городские их родственники заимели чудесный станочек, они стали их часто «навещать», а за ними потянулись и соседи род-

ственников, и жизнь в семье потихоньку налаживалась.

Женились Василий и Пётр, и в жёны взяли Лидию и Евгению, которые были родными сёстрами. Родились сёстры в селе Большие Копёны Лысогорского района Саратовской области, что в ста километрах от Саратова. Их мать Агафья умерла, а у отца появилась новая семья. Ещё до начала войны Лидия уехала в Саратов, устроилась работать на авиационный завод, где и познакомилась с Василием. Позднее Лидия привезла в Саратов свою сестру Евгению, и Пётр стал её мужем.

Приехали из деревни в Саратов старшая дочь Устинии Шура с мужем Иваном Гавриловичем.

Иван Гаврилович прошёл всю войну. Был радистом, связистом, артиллеристом. Закончил войну в Берлине. Имел орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, медали «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и другие. После войны он работал в милиции железнодорожного вокзала г. Саратова.

Вместе с Шурой они построили себе дом в районе СХИ, посадили много плодовых деревьев – и получился замечательный сад возле дома. А главное, в сентябре 1946 года у них родился здоровый хороший мальчик, которого назвали Виктором, но звали его все и всегда Виталиком.

Создали свои семьи Вера и Клавдия. Обе они ушли жить в семьи своих мужей.

Со временем ушли из дома Василий с Лидией. Авиационный завод, где работали Василий и Лидия, предоставил своим нуждающимся в жильё рабочим кирпич, цемент, песок и другие строительные материалы, и сами рабочие и их родня строили 2-этажные дома в Заводском районе Саратова, на окраине. Улица, где стоят до сих пор эти дома, называется Миллеровской.

В доме, купленном когда-то Филиппом Петровичем, осталась Устиния с двумя сыновьями, Владимиром и Петром.

В 1957 году задумали Пётр и Владимир сломать часть дома, в которой жили, и на этом месте и части своего двора построить новый кирпичный дом на два входа. Одна часть дома с отдельным входом была бы для Петра с Евгенией. К этому времени в 1954 году у них родилась дочь Ирина. В другой половине жила бы их мать Устиния Васильевна с Владимиром, которому было 28 лет. Он уже окончил политехнический институт и работал инженером. Пришла пора и ему создавать свою семью.

В течение 1957 года доставали разные строительные материалы: доски, гвозди, скобы, цемент, белый кирпич, шифер и прочие предметы, нужные для строительства дома. Всё это складировалось в сарае и во дворе. Магазинов, где бы продавались стройматериалы, не было, их просто не существовало. Любые стройматериалы выписывались на предприятиях, на которых работали. С большой помощью Веры и Клавдии всё необходимое для стройки «достали».

Надо сказать ещё и то, что во двор, где строился дом, привозили и строительный мусор, а именно – бывший в употреблении кирпич в цементном растворе. Вся семья очищала этот кирпич от больших цементных бугров руками, с помощью молотка, стамески, ножа и наждачной бумаги. Адский труд. Очищенный кирпич впоследствии использовали для фундамента нового дома.

Весной 1958 года Пётр и Владимир сломали свой старый дом, сделали фундамент и начали возводить стены. В этом деле главным консультантом и помощником был муж Веры, Виктор Иванович. Пётр и Володя были способными учениками. Они быстро схватывали все премудрости строительства и быстро работали. Всё лето они упорно клали кирпич за кирпичом, оставляя оконные и дверные проёмы.



Старшая дочь Устинии и Филиппа Александра, по-домашнему – Шура, 1910 г.р.



Иван Гаврилович Ревякин, муж Шуры, 05.02.1915 г.р.



*Евгения и Пётр
на крыльце своей части дома*

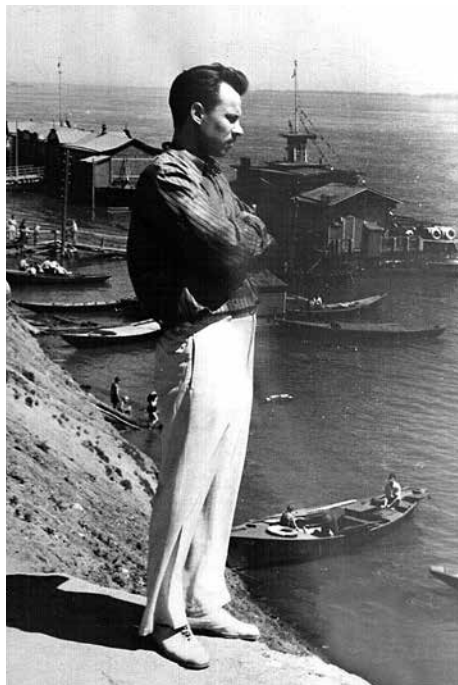
К осени дом был готов. Крышу покрыли шифером, установили двери, застеклили окна. Пётр и Владимир под руководством Виктора Ивановича сложили печи в обеих половинах дома. Он был хорошим специалистом в этом деле. Печки делали под отопление «лузгой» или углём.

Пётр со своей семьёй поселился в той части дома, которая была ближе к сараю, а Устиния с сыном Володей – в части, что ближе к улице Рахова.

Вселившись в дом, они всю осень производили внутреннюю отделку. Настелили полы, а стены и потолки обили дранкой, а затем поштукатурили. Когда штукатурка подсохла, братья обили стены и потолок какими-то большими плитами. Они называли эти плиты сухой штукатуркой. Все плиты они покрасили белой краской. Позднее Владимир и Пётр пристроили к своим частям дома сени, но в семье их называли верандами, ибо построены они были с большими окнами.



Тоня (Броня), 1930 г. ф.



Владимир, 1929 г. ф.

В 1959 году Владимир привёл в новый дом Тоню. Так её звали все и всегда. Настоящее её имя – Броня Моисеевна Массова. Всю её большую семью в 1941 году эвакуировали из Белоруссии, города Гомеля, в город Аткарск Саратовской области. После войны их семья переехала в Саратов, и почти все они работали на заводе.

Тоня стала женой Владимира. Была свадьба, на которой присутствовали только близкие родственники и их дети, но их оказалось немало. Свадьбу справляли в той части дома, где жил Пётр, так как там была большая комната. В декабре 1960 года у них родилась дочь Светлана.

Всё у братьев в доме было одинаково, кроме планировки внутри дома и окон. У Петра были двухстворчатые рамы, а у Владимира трёхстворчатые.

Было и ещё одно различие. В кухне той части дома, где поселились Устиния Васильевна с Володей, был подпол – так они его называли. Может, правильнее сказать – погреб. Этот погреб был потайным.

В этом погребе Владимир и Пётр начали делать валенки. Никогда в этой семье не сидели сложа руки и не ждали у моря погоды. Всё время в поиске, всю жизнь чему-то сами учились и что-то делали. За что бы они ни взялись, природная смекалка, трудолюбие помогали им по жизни. Желание узнать что-то новое и сделать своими руками у каждого в семье было неистребимо, даже если это было в некоторое время их жизни небезопасно. Ну, вот взять хотя бы эту затею – делать валенки. Для них в первую очередь интересно было научиться этому, а потом использовать своё умение на пользу семьи. Вся семья и семьи их сестёр и брата нуждались в такой обуви, нуждались родственники в деревне, которые и привозили шерсть почесать на их станке. Шерсть-то у деревенских была, а вот умельцев сделать хорошие валеночки не было.

В магазине иногда можно было купить валенки фабричного производства, но это, как говорится, «небо и земля». Валенки фабричные – это грубая обувь. Стенки валенок толстые, жёсткие, негибкие. Валеночки, сделанные вручную, да с любовью, – это мечта. «Но это для тех, кто понимает», – как говорил один наш друг. «Ах, какие валеночки!» – по-другому их и называть-то не хотелось – делали Пётр и Володя. Если можно так сказать, то их валеночки были «от кутюрье Влада и Петра».

Казалось бы, хорошее и полезное дело люди делают. Трудятся дома после того, как отработают на производстве по 8–12 часов. А в каких стеснённых, тяжёлых и вредных для здоровья условиях делались тонкие, мягкие и красивые валеночки, знали не все. Да и сейчас не все знают, что это трудоёмкое и вредное производство, связанное с керосином. Пётр и Володя после основной работы спускались в свой маленький погребок и делали валенки в условиях, в которых работают только рабы: они жертвовали своим здоровьем, чтобы купить что-то детям и матери.

Но дело в том, что государством не поощрялась такая инициатива граждан. Поэтому делалось всё это тоже тайком, только для



*Устиния Васильевна,
1888 г.р.*

своих, а иногда – для продажи, чтобы купить какую-то одежду, ибо зарплаты, как правило, не хватало, чтобы свести концы с концами.

Этим промыслом они недолго занимались. Соседям покоя не давало, что кто-то что-то может делать своими руками. «Ишь какие: дом построили, институт окончили...» – говорили они и писали всякие заявления-доносы в разные инстанции. Завистники были одни – соседи, проживавшие во второй половине старого их дома. «Нехорошие были люди, – говорила Вера, – их не уважали и жители соседних домов».

Пенсию Устиния не получала. Не заслужила. В деревне жила, в колхозе работала, шестерых детей вырастила, семерых внуков помогала растить своим детям, отработавшим на разных производствах по 40 лет.

Дети Устинии её очень любили, и ценили, и уважали, и помогали. Любили и уважали её снохи и зятья за её трудолюбие, справедливость в решении семейных дел, за её мудрость, которая заставляла всех членов семьи вести себя благоразумно. Никто и никогда не слышал её крика, непотребных слов. Она была верующим человеком.

После смерти мужа Филиппа Петровича она стала стержнем семьи. Любили Устинию и внуки. Как придут они все семеро, накормить надо и порядок в доме соблюсти. А когда они разыграются, расшумятся, она поднимала указательный палец вверх и говорила: «Чу-чу!» – и дети



*Внуки Устинии – Ира, Надя, Саша,
Наташа, Виталик, Люда –
у сафая старого дома.
Фото-шутка их дяди Володи*



*Люда, Саша, Надя, Ира, Света
во дворе школы № 21.
1962 год*

это хорошо понимали. Каждый знал, что, если не прекратишь шумно баловаться, бабуля «сыграет ширь», а этого не хотелось. «Ширь» – это когда бабуля подходила к провинившемуся отпрыску, брала двумя пальцами, большим и указательным, прядь волос у лба и слегка тянула вниз. Это было не больно, но неприятно и особенно стыдно, потому как все остальные, пока не провинившиеся, над тобой смеялись. Что такое «ширь» и откуда она явилась, никто не знал, но все внуки Устинии, а некоторые и не раз, попробовали её на себе и до сих пор благодарны своей бабушке «за науку».

Дождалась Устиния и правнуков. Многих из них видела, а некоторых держала на руках. Она всех любила, всех привечала (как она говорила), обо всех молилась.

Прожила Устиния в новом доме на улице Рахова – на «золотом месте», как говорил её Филипп Петрович, – сорок лет. Отошла она в мир иной в августе 1981 года, прожив 93 года. Вечная ей память.

Весной двухтысячного года дом был снесён, а им, оставшимся в живых хозяевам дома – Петру, Евгении и Владимиру – предоставили квартиры. И, как водится, не без трудностей.

Сейчас на месте, которое стало родным, стоит десятиэтажный дом из белого кирпича, с красной отделкой. А за ним ещё один многоэтажный дом. Дома хорошие, но нет желаемого пространства между ними, необходимого для жителей этих и близлежащих домов.



Света и Люда. 1964 год



Устиния Васильевна у своего дома с внучкой Наташей и правнучкой Еленой. Май 1975 года



Устиния Васильевна с сыном Петром, с любимцами Пушком и Мальчиком



Родные места. «Золотое место» нашего замечательного, умного и красивого деда Филиппа Петровича Честнова



Виктор

ЗАМУЖЕСТВО ВЕРЫ И КЛАВЫ

В 1946 году Вера познакомилась с Виктором Ивановичем (20.03.1906 г. р.), работавшим тоже на маслозаводе. От первого брака он имел двух детей, Галину и Глеба.

До войны 1941–1945 гг. Виктор Иванович работал каменщиком, прорабом на стройке, он был хорошим печником и занимался конькобежным спортом.

В 1942 году он был призван в армию. Служил стрелком на санитарном поезде. Попал в плен с большой группой людей. Из плена он с другом трижды совершал побег, но их догоняли с собаками. В плену Виктору Ивановичу повезло: когда он заболел, его поместили в больницу, где врач оказался то ли из Саратова,

как и он, то ли с санитарного поезда, где он служил. Они как-то подружились, и доктор продержал его в больнице до тех пор, пока Виктор Иванович не выздоровел. Если бы не это обстоятельство, в условиях плена он бы не выжил. Поэтому Виктор всегда с благодарностью вспоминал этого врача и помнил его всю жизнь.

Однажды Виктора Ивановича в группе с другими военнопленными привезли к большому пароходу и поместили в трюм. Везли долго и краем берега. Доставили их в Норвегию. Название города, к сожа-

лению, не помню. Там они что-то строили. Местные жители, где работали военнопленные, часто просили начальников военного лагеря отпустить Виктора или кого-то другого на денёк, чтобы поправить им печь, или камин, или развалившуюся стену дома и сарая. За сделанную работу хозяин их кормил и кое-что из продуктов давал с собой, в основном хлеб и лук. Виктор, как и все, приносил продукты в лагерь и раздавал своим товарищам по плену. В Норвегии Виктор Иванович был до конца войны.

Всё рассказанное выше известно со слов Веры. Сам Виктор Иванович никогда о войне не говорил, а когда по телевизору показывали фильмы про войну, он злился, ворчал про себя, иногда слышались такие слова: «Показывают сказку про белого бычка...» и т. п. — и уходил на кухню, а летом во двор. Дети его не понимали.

После войны Виктор работал бригадиром фурфурольного цеха на Саратовском маслозаводе. Это вредное производство, связанное с использованием серной кислоты.

Надо отметить, что, несмотря на тотальное мелкое воровство на заводе, Виктор Иванович с завода не вынес ни одного зёрнышка. Единственно, что он делал вместе с другими рабочими в первые послевоенные годы, — стрелял в голубей, которых было видимо-невидимо на горах подсолнечника, лежавших во дворе завода. Голубей варили и ели. Администрация на отстрел голубей смотрела, как говорят, сквозь пальцы, потому что голуби наносили большой материальный ущерб заводу, ибо много пожирала семечек.

В 1948 году, как говорила Вера, они сошлись с Виктором.

Вера пришла жить в его семью, в дом его матери Екатерины Дмитриевны, 1883 г. р., на ул. Чапаева, дом № 161, где та жила со своим вторым мужем Николаем Ивановичем, двумя его взрослыми сыновьями, Владимиром и Александром, и родным сыном Виктором. Александр был красавцем и вернулся с фронта героем. В доме на видном месте стояла его фотография, где он в военной форме — грудь его украшали награды за доблесть в боях.

У Екатерины Дмитриевны была старшая дочь Евдокия, лет на 6–7 старше Виктора. Она жила со своей семьёй в своём доме в Агафоновке. У неё было трое детей: сын Володя и две дочери, Раиса и Тамара.



*Екатерина Дмитриевна, 1883 г. р.,
с мужем*



*Вера и её дочери Наташа и Люда.
Август 1953 года*

Примерно через год Александр женился на красавице Тамаре и ушёл жить в её семью. В 1957 году женился Володя на Лидии. Дочь Веры, Наталия, во время свадьбы, которую справляли летом, и столы были накрыты во дворе дома, лежала в доме на полу и рыдала от ревности и оттого, что Володя уйдёт жить в дом Лиды.

Володя был симпатичным, весёлым молодым человеком. Он часто играл с дочерьми Веры, заступался за них, если их кто-то обижал, и был очень добрым. В каждую свою получку он приносил Наташе и Люде по большой шоколадке «Сказки Пушкина». Володю они любили.

Свой брак Вера и Виктор зарегистрировали лишь в январе 1957 года, а до этого времени дочери Веры носили её девичью фамилию и были Честновы. В детский сад они не ходили, росли и чему-то учились в основном, как и большинство детей того времени, во дворе своего дома, играя со сверстниками из соседних домов.



*Иванов
Владимир Николаевич,
1929 или 1930 г.р.
Примерно 1955 год*

Вспоминая свою молодость, Вера всегда говорила: «Наших женихов убила война». В душевных вечерних разговорах Вера часто вспоминала свою первую и единственную любовь – Григория Пулина. «Ухажёров было много, но сердце не лежало ни к кому, я до сих пор помню Григория и свои сильные чувства к нему и как я долгие годы плакала по нему», – говорила Вера, а ей было уже за восемьдесят лет.

Когда она работала акушеркой в Ней-Вальтере, за ней ухаживал и предлагал ей выйти за него замуж школьный учитель истории Виктор Новиковский. По словам Веры, он был видный, немного полноватый мужчина, родом из Житомира. Он просил её поехать с ним к его родителям и брату, но Вера отка-

Дом Екатерины Дмитриевны был маленький. Он состоял из двух комнат и кухни, в которой стояла русская печь, занимавшая 1/4 часть кухни. Вот в этом доме и стали жить шесть взрослых человек.

В 1950 году у Веры и Виктора рождается дочь Наталия, в 1951 году – дочь Людмила.

В 1952 году умер Николай Иванович.

залась от этого предложения, т. к. после большой и душевной любви к Григорию о замужестве в то время и не думала. Уже в старости, рассказывая свои истории, Вера говорила: «Вот правильно в фильмах иногда показывают большую, красивую любовь. Это бывает, и это хорошо».

После войны Вера узнала, что Григорий женился на односельчанке, у них родилось трое детей, а во время войны Григорий был призван в армию. Воевал он на Сталинградском фронте, там и погиб.

Сестра Веры Клавдия всегда поясняла: «Веру за Виктора сосватала начальница отдела кадров Зинаида Васильевна. Эх, Вера, какие мы были дуры! Ведь ты была красавица, а Виктор Иванович старше тебя на много лет, имел семью, двух детей и ростом ниже тебя. Виктор – это судьба, судьба. Какая уж тут «любов»?»

«Да, да. Мне это в глаза многие говорили, что я зря с Виктором...» – призналась однажды Вера.

«Вот и меня в 1954 году Рунова Ольга Георгиевна, соседка по дому на улице Рахова, сосватала за своего двоюродного брата Колю. Она, что ль, виновата в этом? Сами мы дуры. А первый мой брак с Валерием Александровичем Петровым – что



Вера в Сочи. 1947 год



Виктор Иванович и Вера, Василий и Лидия, Николай и Клавдия. Дети: Саша, Надя, Наташа, Люда. 1955 год. В сквере на улице Рахова, напротив своего дома



Клавдия

это? Он был модник, фасонистый, ботинки всегда начищал до блеска и каждый день и ходил в кожанке.

Однажды он пригласил меня покататься на машине и погулять на Соколовой горе. Я согласилась. Был летний, тёплый, солнечный день. В тот день на мне было хорошо пошитое, голубое батистовое платье с большим вырезом на груди, а на ногах красные тряпочные босоножки. Я первый раз ехала в легковой машине, была довольна собой, и Валерий мне нравился.

Немного погуляв по лесу, Валерий стал приставать ко мне. «Я поняла, что приехали мы не погулять. Ах! Как я бежала от него с этой горы – дух захватывало и от бега, и от страха. Вера! Я ведь, как и ты, девственницей была. Он бежал за мной и догнал». После этих слов Клавдия громко рассмеялась и сквозь смех добавила: «Он повалил меня и сказал, что я его измучила». После небольшой паузы Клавдия опять рассмеялась и, смеясь, сказала: «И стал валять, клочки драть».

Тут Вера чуть ли не вскрикивает: «Вот бы ему по... и убежать...»

Клавдия тут же осекает её и говорит: «Вера! Но он же за мной долго ухаживал, да и влюблена я была в него. Чего уж там... Вскоре мы зарегистрировали брак с Валерием. Свадьбы не было, как и у тебя, Вера. Пришли в дом к маме, царствия ей небесного, посидели по-семейному за столом, и переехала я жить к мужу. Жить мы стали вместе с его матерью на улице Некрасова, за Липками, в 15–17-метровой комнате двухэтажного дома.

Валерий был очень ревнивый, беспричинно обвинял меня, скандалил, оскорблял. Не успокоился он, и когда я была беременной. Однажды он поздно пришёл домой и во время ссоры стал меня душить. Утром я ушла к маме, а на следующий день, пока Валерий был на работе, мы вместе с братом Володей съездили на машине к нему в дом, собрали в узел все мои вещи и вернулись в свой родной дом на улице Рахова. Беременность у меня была пять месяцев, но в семье об этом никто не знал, и я, никому ничего не сказав, сделала аборт.

Спустя несколько лет я призналась в этом. У меня не могло быть детей после аборта. Я стала бесплодной. Брак с Валерием не расторгали долго. Вот тебе и «любовь», – смеялась Клавдия, и нотки горечи были слышны в её смехе.

Я, пишушая эти рассказы Веры и Клавдии, смеялась вместе с ними и над ними, слушая их воспоминания, особенно на тему любви. Рассказывали они просто и с юмором, без злобы и обиды на прошлое. Им нравилось, что я их слушаю, а иногда что-то записываю на память в тетрадь. «Нам было хорошо. У нас была любовь».

МОЯ УЛИЦА РАХОВА

Покупая домик на улице Рахова, Филипп Петрович наверняка не знал, в честь кого названа понравившаяся ему улица. Он, будучи умным человеком, оценил простор, сквер посреди улицы, близость школы и базара. Он, его семья и многие люди называли улицу Рахо-

ва Камышинской. Об истории этой улицы не знали и дети Филиппа. И только внуки Филиппа и Устинии стали интересоваться этим.

С середины 19 века улица Рахова называлась Камышинской в честь уездного города Камышин Саратовской губернии. Эта улица отделяла центр города от городской окраины.

В 1940 году, то есть за один год до того, как Филипп Петрович купил домик в Саратове, улицу Камышинскую переименовали в улицу имени Виктора Георгиевича Рахова, 01.01.1914 г. р., лётчика, Героя Советского Союза.

Рахов В. Г. – житель Саратова, работал на авиационном заводе, окончил военную школу пилотов в 1933 году. Был лётчиком-испытателем. Участвовал в боевых операциях. На его счету 14 сбитых самолётов. 27 августа 1939 года он был смертельно ранен. Это был его последний бой с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол в Монголии.



Улица Рахова

А что касается скверов на улице Рахова, а также на улице Астраханской, то мы должны быть благодарны их появлению Андрею Ивановичу Косичу, 1833 г. р., назначенному в 1887 году губернатором Саратовской губернии. Он был двадцать первым Саратовским губернатором и на этой должности прослужил почти пять лет.

Устройство бульваров на двух улицах – это его идея. Астраханская улица своё название носит с 1851 года, а ранее – Астраханский тракт, шириной 90 метров.

Улица Рахова, ранее Камышинская, имеет ширину 50 метров. Бульвар на этой улице горожане называли «бульваром Косича».

Много доброго сделал этот губернатор для Саратова и саратовцев. При его участии построены реальное мужское училище, городская больница, купеческая биржа, красивый Княже-Владимирский собор. Он стоял на Полтавской площади. Теперь это территория Детского

парка. В 1891 году, когда в Саратовской губернии был голод, по инициативе А. И. Косича открывались дешёвые столовые, пекарни для продажи дешёвого хлеба.

Только потому, что А. И. Косич был инициативным, известным и заслуженным человеком в Российской империи, многие люди из разных городов и стран делали пожертвования в помощь голодающим в Саратовской губернии.

В период Первой русской революции А. И. Косич был против того, чтобы войска его округа участвовали в подавлении крестьянских выступлений. Он говорил: «Армия должна воевать с врагом, а не стрелять в собственный народ».

А. И. Косич дворянского происхождения, получил хорошее военное образование. Он участвовал в Крымской войне, Русско-Турецкой, 1877–1878 гг., Русско-Японской и других военных кампаниях, получил звание генерала, имел много наград.

Андрей Иванович был разносторонне развитым человеком. Он интересовался в том числе и литературой. Прожил он 83 года, умер 15.03.1917 года, похоронен на кладбище Алексеевского монастыря в Москве. Славный человек, достойный сын своей Отчизны.

Хочется, чтобы люди знали и помнили историю своей страны, своего города, своей деревни, своей улицы и тех людей, которые делали добрые дела для настоящего и будущего.

Хочется, чтобы облик улицы Рахова, как и других улиц Саратова, узнавали наши потомки, чтобы берегли то хорошее, что есть в городе, строили нужные для людей дома и сооружения и восстанавливали по возможности зря уничтоженное, чтобы Саратов всегда был чистым и удобным городом.



**Ольга
КОСТИНА**

СВЕТ ОСЕНИ

Удачный день, переплавленный в сумерки зимнего вечера.
Тихое стояние снега и противостояние домов.
Запахи морозного белья, коченеющего на ветру.
И тонкие нити проводов,
соединяющие с вашей нервной системой мои безыскусные речи.
И дух Марины Цветаевой, упрямый, строгий и одинокий,
приглашает нас в маленькую деревенскую гостиницу,
где тонкий звон старинных часов...
И воздух нашей молодости,
со вкусом сливочной помадки «Машенька»
и восхитительным настоем французской поэзии.

Ты ничего не напишешь – и всё умрёт вместе с тобой.
Дрожащее марево надежд и исканий
и робость нежных, уже почти несуществующих пространств.

Послушай, как щебечут птицы
в это утро, вопреки всему нехорошему.
Они так настойчиво и невинно нас убеждают,
что жизнь не закончилась,
и тонкий слух будет зачем-то вознаграждён.

Картина чудная рисуется душе.
Чуть тронутые ветки и стволы –
начало снежной жизни.
Так всё здесь просто, что девственная тишина
мне видится началом разговора
о праздничных неспешностях зимы,
о чудных вечерах и наклоненьях...
Пускай потом придётся нам не раз

-
- Ольга Викторовна Костина родилась в 1965 году г. Северодвинске Архангельской области. Училась в Московском институте культуры и в Екатеринбургском университете. Работает преподавателем. Живёт в Саратове. В литературно-художественном журнале публикуется впервые.

тягучей меланхолии вино
испить, на радость всем окрестным самозванцам.
Но всё же лучшее случилось: выпал снег,
и началось такое превращенье
простых вещей в небесные тела,
что даже наш любезный брат далёкий
нам тонко улыбнулся с высоты..

Идёт одинокая женщина, но на самом деле
за ней тянется шлейф её воспоминаний.
Голову её окружает печальная дымка раздумий.
Она уже не может плакать,
она улыбается.
Нога её погружается в мягкую листву осени,
как в зыбкую почву, которой уже нет, это пища зимы.
Что же ей сказать, как к ней подойти и чем утешить?
В эту будущую бесснежную зиму
что согреет её сердце?
Ей видятся только усталые и равнодушные
от вечной маеты люди.
Больше всего её, с тяжёлыми сумками в правой руке,
волнует алхимический процесс превращения.
Превращения совсем небольшие,
но чувствительные для маленького и беспомощного сердца:
нежности – в зависимость, а потом в ненависть;
Любви – в противочуткость и потом в..
Страшно продолжить,
во что превратится эта невесомая субстанция.
Если раньше она пила упоительный нектар жизни
И вдыхала полной грудью свежий морозный воздух,
то теперь жизнь принималась
Как горький отвар для излечения
По небольшой порции два раза в день после еды.
Только бы достало человеческого материала.

Она после долгого перерыва задумалась. И поняла, что истинным светом в жизни может быть только свет осени: тихий, не вежливый, а пронзительный, растянутый в воздухе как протяжный крик птиц. Боже, что же нужно человеку, как должно это мучить его, чтобы бесконечно прояснять и прояснять эту сумрачную и неясную жизнь, вытягивая из неё смысл, создавая из неё жизнь, располагая себя в такт речи и согласно письму.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



**Александр
Зрячкин**

НА ДОБРО ОТВЕЧАЙТЕ ДОБРОМ...

Ответом на слова – слова.
Ответом на любовь – любовь.
Любовь, которая права
И греет лучше тёплых слов.

И чтобы сердце не разбить
О вечный холод бытия –
Так важно верить и любить.
Любить, как любим ты и я...

Знаешь, наверное, это немного больно,
Но расставание – повод для новой встречи.
Время пройдёт – согласишься со мной невольно:
Снова настанет приветливый летний вечер.

Вновь позвонишь. Надо встретиться? Выезжаю,
Да, через полчаса буду – повсюду пробки.
Не обнимаешь, по-прежнему – как чужая.
Всё остальное выносим теперь за скобки.

Время пройдёт – согласишься со мной невольно:
Снова подарит улыбку прекрасный вечер.
Сердцу ещё бывает немного больно,
Но расставания – повод для новой встречи...

-
- Александр Николаевич Зрячкин родился в 1981 году в Саратове. В 2004 году окончил Институт юстиции Саратовской государственной академии права. Кандидат юридических наук, доцент. Руководитель Приволжского регионального отделения Международного союза писателей «Новый Современник» и литературного объединения «Когда зажигаются звёзды в небе ночном». Автор книг стихов «Выбор сделан» (Саратов, 2004), «Расширяя горизонты» (Екатеринбург, 2016), «Воскрешу твою душу, любимая» (Екатеринбург–Саратов, 2017). Финалист Международного литературного конкурса «100 лучших стихов о маме», «Поэт года 2017», «Наследие 2017». Публиковался в журнале «Волга–XXI век» и «Литературной газете». Живёт в Саратове.

Не вернуть ни единого дня,
Что от нас ускользнул безвозвратно.
Ты, однажды оставив меня,
Никогда не вернёшься обратно.

Не рассчитывай, нам ни к чему
Вновь и вновь погружаться в былое.
Кто-то может, а я не приму.
Стало прошлое лёгкой золою.

Ты, однажды оставив меня,
Никогда не вернёшься обратно:
Не сдержать ни единого дня –
Ускользают они безвозвратно...

Стоит над городом туман.
Три метра видимость. И всё же
Есть ощущение: зима
Ушла. О ней грустить негоже.

Пусть обещают снег с дождём
И ураган по всей округе...
Опору находя друг в друге,
Мы эту пору переждём...

Лето не уходит никуда –
Просто утекает
Как вода
Наше незамеченное
Время.
О минувшем
Часто говорят,
И уже который раз подряд
В том не соглашаешься
Со всеми,
Что уходят праздники
Навек,
Будто время
Ускоряет бег,
И к былым мечтам
Не возвратиться.
Тяжело?
Сдаваться не спеши:
Лето –
Состояние души,
А душа поёт
Подобно птице...

Календарь листвою шелестит.
Прошлое отпустит и простит.
Говорят, недолго до зимы..
Даже если не поверим мы –
Падает осенняя листва,
Утихают прежние слова.

Мы с тобой по улицам пройдем
Не спеша за ветром и дождем.
Календарь листвою шелестит.
Прошлое отпустит и простит...

На добро отвечая добром,
Время красит виски серебром.
Скажут, будто с утра до утра
Не хватает на всех серебра..
Если этому верить, мой друг,
Счастье вновь ускользает из рук..
Снег дороги зальёт серебром.
На добро отвечайте добром.

Несказанное слово,
Несыгранная роль..
Не возвращайся снова
К тому, кто дарит боль.
Всё то, что раньше было,
Давным-давно ушло.
Теперь надёжней пыла
Привычное тепло.
В любой великой роли –
Привычные слова:
Сердца не знают боли,
Пока любовь жива...



**Александр
ЛЕПЕЩЕНКО**

Окончание.
Начало в №№ 9–10, 11–12 2016,
1–2, 3–4, 5–6 2017

СМЕШНЫЕ ЛЮДИ

Роман

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Замрела весна, распоясалась.

На опрозраченном горизонте не осталось и абриса туч. Солнце облизало улицу, дом и сад. Запахло старыми листьями, почерневшими и скукожившимися, которые я теперь выгребал из-под яблонь. Листья эти я складывал в зевасто открытый мешок и сносил к старой беседке.

«Да, благой день... благой».

В лунках попадалась зелёно-жёлтая наледь, но на солнце она быстро истаивала. Под деревьями вдоль дорожек и перед домом, там, где ещё несколько дней назад белел снег, теперь прыснула трава.

«Скоро всё запеленает, придётся косить...»

В саду вспыхнул воробьиный переполох, а возле беседки – костёр. Листья кружило жаром вверх, и там они истлевали. Я смотрел то на листья, то на беседку. Беседка была старой и поэтому красивой.

«Японцы видят особое очарование в следах возраста, выявляющего суть вещей. «Саба» – как они называют следы старения вещей – это неподдельная ржавость, прелесть старины, печать времени...» – припомнились вдруг слова Тарковского.

Потом я свернул на новое воспоминание. Попытался понять, отчего Андрей Арсеньевич не шёл «ни на малейшие компромиссы с толпой, дабы сделать» свои фильмы «более доступными» или «интересными». Выходило, что режиссёр спорил с Пушкиным. И Пушкин, само собой, возражал: «Народ, как дети, требует занимательности. Смех, жалость и ужас – суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством».

Пока я рылся в архивах памяти, черенок лопаты обжалил огонь. Пришлось затаптывать.

– Эй, садовник!

Я обернулся.

По другую сторону забора стоял сосед Ильдус в расшитой серебром тюбетейке. Это был покудесивший в молодости, желтовато-смуглый, гладкий, с бессовестными глазами татарин. Служил он в областном правительстве, боготворил Вагнера и либеральную интеллигенцию, носил отлично сшитые костюмы и, если бы не тюбетейка, надеваемая им в выходные, походил бы всегда на европейца.

При каждой встрече он выкруживал возле меня и говорил о «злом Кобе», выселившем его предков из Крыма, об «умных немцах», образовавших во время войны Крымский округ в составе рейхскомиссариата Украины, и, конечно, о «глупом Хрущёве», подарившем полуостров хохлам.

Ильдус и теперь подкатил с этим.

– Что, наводишь порядок, как Сталин?

– Навожу... Только при чём здесь Сталин? К чему эти набеги на советское прошлое?! – разозлился я.

– Но ведь нас, крымских татар, – приморщил сосед складку на лбу, – так и не реабилитировали.

– Да, Ильдус, это правда. И всё-таки в 1967-м власти признали ошибку... Не всё татарское население Крыма пособничало немецким захватчикам. Если бы только допустить...

– Злой ты, Алёшка. Наверное, молоко змеиное пьёшь?

Ильдус, ободрённый моим молчанием, умело вставлял сыпкие, хитрые слова. Но когда татарин начал хулить ветеранов, я отбросил лопату, которую до сих пор зачем-то вертел в руках, и двинулся на него.

– Не смей! – взревел татарин и, подобрав свалившуюся тюбетейку, кинулся прочь от забора.

...Посыпался дождь.

Из окон выплёскивался неяркий свет.

Сломленная в пояснице тень припала к стене дома и пошла дальше. Постояла у дверей, будто с духом собиралась, обмысливая дальнейшие действия. И вот вместе со мной и запахом дыма ввалилась в дом. Я шумнул с порога Марине, чтобы пустила воду в ванную, глотнул мимоходом на кухне бутерброд с ветчиной и пошёл мыться.

Не думал не гадал, что останутся силы на книгу. Но когда наплыла темнота, я уже сидел за ноутбуком.

Не могу объяснить, отчего начал новую главу именно с вопроса об интеллигенции. То ли Ильдус враньём так подействовал, то ли Ф.М. Достоевский «Дневником писателя». Полагаю, что ответ – в записках корректора Варвары Тимофеевой...

«Свой дневник «о вранье» Фёдор Михайлович писал в типографии, и весь этот день он пытал меня вопросами, как бы я поступила в случаях, которые он приводил. Прежде чем писать, он рассказал мне последовательно всё содержание и затем прочёл только что им написанное: «Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека – решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она всё-таки остаётся фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести или, что то же самое, о таком

необыкновенном собственном неуважении к себе, что придёшь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от *таких людей и такого общества*... Дома про себя: «Э, чёрт ли в мнениях, да хошь бы высекли!» Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоёный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника».

Фёдор Михайлович положил перо и с иронической улыбкой пронизательно посмотрел на меня.

– Как вы думаете, когда он откалывал мазурку и вывёртывал, делая па, свои столь недавно оскорблённые члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения, думал, – отвечал он за меня. – А было ли ему стыдно? Без сомнения, нет. Я убеждён, что поручик этот в состоянии был дойти до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце, не знающей, что её кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего!

Записав всё только что сказанное, Фёдор Михайлович закурил папиросу и снова обратился ко мне.

– Ну, а как вы думаете, если б она узнала, а предложение всё-таки было бы сделано, вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более никто не узнает)?

Эти слова в его «Дневнике» были обращены лично ко мне, и я ответила на них тогда горячим и негодующим голосом:

– Какой ужас! Ни за что бы не вышла!

Фёдор Михайлович опять улыбнулся – тонко и ядовито.

– Вы бы, может быть, и не вышли. А я вам ручаюсь – девяносто девять из ста не задумались бы ни на минуту. И потому я всё-таки напишу: «Увы! Непременно бы вышла».

...Непонятная виноватость одолела меня.

«В пассаже, приведённом Тимофеевой, чего-то не хватает. Но чего именно?»

Только перечитав с карандашом главу «Нечто о вранье» «Дневника писателя», я отыскал ответ. Варвара Тимофеева в цитате после слов *«таких людей и такого общества»* пропустила несколько строк, нарушив логику рассуждений романиста. Вот что было пропущено: «Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, – эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и со своим собственным твёрдо установленным мнением».

«Наконец-то мысль Достоевского приобрела стройность и законченность... «Хошь бы высекли...» вкуче с высеченным поручиком Пироговым были теперь особенно к месту...»

Думал-думал и не заметил, как закрылись глаза. Возникло гладкое лицо соседа, потом замелькали яблони, листья, устлавшие двор, старая беседка, мокрое, замытое дождём окно, и всё, что виделось мне сегодня.

Запахло садом, холодом, дождь прожурчал и смолк...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

- Чё окислился?
- Есть один секрет, пап.
- Как в прошлый раз... Палица богатырская понадобилась?
- Нет, не то. Вот слушай... Сегодня возле «Дома борьбы» бегал котёнок... Знаешь, такой беленький, хорошенький...
- «Если Артемий втемяшил себе что-то, то не отстанет... Весь в меня... Котёнок... Конечно, этот хорошенький превратится со временем в обормота...» – подумалось мне, но сказал я другое.
- Ладно, вернёмся за животиной...
- Ты разрешишь взять её домой?
- И не сомневайся...
- Тогда не надо никуда возвращаться. – Щёки у сына стали красными, как дзюдоистский пояс.
- Не понял... Как это не надо?
- Да так... Она в моей сумке спит.
- Ну ты и жулик!
- Я не жулик, я – ловкач.

...Окрестности за окном осунулись, поседели.

Марина уложила сына и вернулась в гостиную.

Котёнок мыкался из угла в угол, писклявил. Ещё пару часов назад его, видимо, донимала голодная, сосущая нудь в животе. Теперь же, нализавшись молока, он стравил. Когда пришла жена, я усердно возил тряпкой по щербатому полу.

- Давай, что ли, я!
- Да ничего, уже вытер...
- Вот не постигаю, как это ты согласился взять котёнка? Ну ладно, Артемий... любит всех, как блажной...
- А потому что он добрый и душа памятливая...
- Ты не ответил.
- Что же ответить? Трудно любить всех... Но вас я люблю...
- ?..
- Да, Марина, вас... А вы прошли сквозь мелкий, нищенский... нагой, трепещущий ольшаник... В имбирно-красный лес кладбищенский... Горевший, как печатный пряник...
- Опять пустили в ход Пастернака, – улынулась жена, – опять обольщаете.
- Каюсь, грешен... – сказал я, притянув Марину к себе.
- Глаза её были в тёмных обводах, бледные ключицы выступали из ночной сорочки.
- «Чем не кадр из «Сталкера»? И ведь похожа на Алису Фрейндлих, похожа... Как же я, забубённая голова, этого раньше не замечал!»

Дни прибавлялись и прибавлялись.

Иссушённый бедою взгляд у котёнка постепенно исчез.

Почти всё время «беленький, хорошенький» был радостно-взвинчен, словно готовился к решающему прыжку. Сын назвал его Яшкой, а знакомый ветеринар – альбиносом. Как выяснилось, альбиносы на девяносто процентов глухи. И действительно, ни пылесос, ни миксер, ни какой-либо другой механизм не пугали найдёныша. При этом он имел завидный аппетит, не хуже

Зорро чиркал стены, а по утрам, когда мышисто серел рассвет, ещё и запевал вполне здоровым басом.

Если бы имелся способ сигануть во вчерашний день, в прошлое, то можно было бы узнать не только про нашу животиночку. И хотя мысли всякие сбивают, попробую всё-таки восстановить хронологию событий.

Нужны лишь зацепки... Ага, в портмоне сохранились цирковые билеты... Согласно им 7 марта мы поглазели на львов и тигров братьев Запашных. После представления вдруг поняли, что нисколько не переплатили за свои страхи.

Ну а на следующий день в «Киномаксе» посопереживали – особенно жена – известному советскому хоккеисту Валерию Харламову из «Легенды № 17». Фильм был снят по голливудским лекалам, но, в отличие от «Сталинграда» Бондарчука, не расплывался с правдой. И причина тут самая главная: нашему зрителю предназначался, а не заокеанской комиссии по «Оскарам».

10-го же началось тетёшканье Яшки.

С появлением котёнка многое и вправду пошло по-другому: я сделался всегдашним зоомагазином, а жена – сайтом о животных. С сыном вообще творилось что-то невообразимое. Во-первых, он расхотел быть секретным агентом. Во-вторых, решил, что, «когда вырастет, будет лечить нас от Яшкиных царапин и укусов». Дело в том, что животиночка, освоившись, частенько теперь раздирает до крови нам руки и ноги. И взгляд её как бы говорил: «Всю эту поруху не я натворила...»

Примерно в эти же дни выскочила новость театральная.

Юрий Любимов собрался запретить Театру на Таганке играть спектакли, им созданные. Причина? Актёры, по словам бывшего худрука, не поддерживают спектакли в достойном состоянии. Наверное, я не обратил бы на это внимания, ведь из столичных театров бывал лишь во МХАТе им. Горького, да и то на единственном спектакле – «Старая актриса на роль жены Достоевского»; игру больших актёров, кроме Дорониной и Ливанова, отродясь не видел, а значит, и в театральном искусстве мало что смыслил. Так вот, имя бывшего худрука Театра на Таганке появилось в памяти только в связи с Тарковским. Создатель «Андрея Рублёва», «Соляриса», «Иванова детства» терпеть не мог ни Любимова, ни его театр. «Везде успевает сунуться со своими диссидентскими штучками», – говорил кинорежиссёр.

16 или 17 марта вдруг позвонила жена моего отца Валентина Ивановна и рубанула: «Николай Николаич потерял речь... Это – инсульт... Приезжай!» Приехал. На папе висел светло-верблюжий халат, именно висел. Папа всегда был корпусный, важный, но сейчас всё куда-то делось. Он захудал, сомкнул губу с губой и, не поднимаясь из кресла – просто не имел сил, – ожёг меня красными глазами. Врач с дыроватым ртом, отдавая рецепт, сказал, что речь вряд ли восстановится и что надо бы показаться онкологу... Есть, мол, подозрение...

Вскоре папу поместили в хоспис. Палата была холодной, сырой, неприютной. Цветы насорили жёлтой пылью и лепестков на подоконник, но никто не спешил их убирать... В двадцатых числах апреля Валентина Ивановна настойчиво предложила мне перевезти отца к себе...

– Так лучше будет, а я уже ухлопоталась...

– Да, так будет лучше, – согласился с нею я.

Было ли мне совестно? Ведь я мало общался с папой в последние годы, всё не мог ему чего-то простить. «Совесть, – припомнилось вдруг, – совесть –

это палка, которою всякий готов бить своего ближнего, но отнюдь не самого себя». Мне было жалко этого ныне безответного человека – моего отца. Казалось, сердце из меня вынули и вместе с ним всё остальное, что было в серёдке.

Время... Время иногда отступало. Вот мы с папой ловим линей. Вот пошли погулять, и я потерялся. Ещё помню, он как-то принёс гантели, выточенные заводским токарем... Эти двухкилограммовые изделия хранятся у меня и поныне. А вот старая фотография... Отец вернулся из Вьетнама. Он военный инструктор. Шея его засмолена солнцем... Завод. Папу назначили директором, мы редко видимся. И всё-таки он никогда не забывает о дне моего ангела. На восьмилетие даже подарил котёнка, «беленького, хорошенького». Сибирского. «Малыш, пусть это будет Малыш!» – решил я. Когда отец ушёл из семьи, Малыш сделался моим закадычным другом. Потом и его не стало: сосед в подвал приманку для крыс бросил. Отравленную...

В палату вбежал главный врач хосписа Вереницын, молодой человек в чёрном приталенном костюме, маленький, юркий, похожий то ли на клерка, то ли на жениха. Физиономия его напоминала дуршлаг. Следом за ним втащился, точно тюлень, лечащий врач отца Михаил Васильевич Барвинок.

– Ну, – полувопросительно сказал главврач.

– Что ну? – не понял я.

– Говорю: вы отца забираете или нет? Если да, то подпишите здесь и здесь. – Вереницын сунул мне какую-то бумажку.

– Николай Николаич, вы согласны поехать к сыну? – одышливо произнёс Барвинок и, уткнувшись в историю болезни, заскрипел ручкой.

Отец ничего не сказал, лишь поскорбел лицом.

Валентина Ивановна, поджав ярко-красные губы, оставила сумку с вещами, пожелала удачи и умыкнулась. Её «опаздываю, ой опаздываю» застряло у меня в голове. Впрочем, отец даже не взглянул жене вслед.

Потом мы пошли к машине. И в тот момент меня ожгли слова Астафьева, мудрые слова: «...злом сердце быстро изнашивается, рвётся, словно на гвоздях, истирается, будто колесо о худую дорогу, оно и воистину не камень, хотя и камень поточи, подолби, так рассыплется».

На улице отец захлебнулся воздухом, тяжело закашлялся. Часто останавливался, словно бы вслушивался в себя. В свою боль. Похоже, ему до рези в глазах было больно смотреть и на солнце. Дорогой он то ли дремал, то ли длинно думал. Уже дома я заметил, что глаза отца высветлились и стали как сонная вода. Он пожал мне руку, будто говоря: «Нет, чувства ещё не глохнут, не притупляются».

Когда вечером Марина стала потихоньку расспрашивать про хоспис, врачей, Валентину Ивановну, я лишь отмахнулся: сил на громоверженье не осталось.

А вот Иван Гулевич – этот вселюдный, чернобровый живчик – силы имел немереные. Весь март он допрашивал фигурировавших в записной книжке Подобедова чиновников. Добился того, чтобы аукциониста Гринёва и оператора Голомазова включили в программу защиты свидетелей. Сыскал и кое-какие концы в деле коммерсанта Ягужинского. Версию стройную вывел, объединив в одно производство и это убийство, и то, что случилось в аукционном доме прошлой осенью.

«Что же ещё случилось в эти дни?.. Ага, именины Маркеса и Акутагавы не в счёт... Но вот смерть Березовского...»

В последнюю неделю марта Интернет обнесло злостью.

Все пережёвывали письмо Березовского Путину. Незадолго до своей смерти Борис Абрамович действительно написал российскому президенту, вот только в сети была выложена фальшивка, фрик. Каялся ли Березовский в этом письме, просил ли о чём, угрожал, оставалось только гадать.

Утром 23 марта олигарх был найден лежащим на полу в запертой изнутри ванной комнате в доме бывшей жены. Дом этот был не где-нибудь, а в графстве Беркшир, что в сорока километрах от Лондона. Обнаружил мёртвого Березовского его личный телохранитель Ави Навама, в прошлом агент израильской разведки «Моссад». Никаких следов увечий или борьбы он не заметил.

Да уж, и биография у покойного!

Обвинялся в многочисленных преступлениях и заочно приговаривался к тюремному заключению. Спонсировал боевиков Шамиля Басаева и «оранжевую» революцию на Украине, был якобы причастен к убийствам известных журналистов Пола Хлебникова и Влада Листьева. Получал отказы во въезде в Швейцарию и Латвию.

Березовский – это громкие уголовные дела «Аэрофлота» и «ЛогоВАЗа», это призывы в средствах массовой информации к беспорядкам и силовому противостоянию властям накануне президентских выборов.

И вовсе не удивляет высказывание протоиерея Всеволода Чаплина – столь не любимого либералами – по поводу намерения Березовского создать Христианско-демократическую революционную партию России: «Он может создать партию антихриста и даже баллотироваться на этот пост. Полагаю, что его дела и слова, если посмотреть на них с позиций христианской нравственности, дают на это прекрасные шансы. Даже нынешние его рассуждения вполне созвучны многим пророчествам, описывающим апокалиптического Зверя (одно из названий антихриста в Новом Завете)».

На возражение журналиста, «что антихрист – фигура исторически уникальная, и, чтобы претендовать на такую миссию, нужно очень далеко продвинуться по тому пути, по которому идёт и хочет вести других Борис Абрамович», священник ответил: «Впрочем, это человек талантливый, решительный, умный. Кто знает, может, и получится – по крайней мере, совершать ложные чудеса, необходимые в этом случае, человек такого масштаба может научиться».

...Перед окном лежал жёлтый квадрат света.

На диване у меня в ногах распластался Яшка. Он замёрз и жался ко мне. Животине до стоноты требовалось тепло человека. Уже засыпая, каким-то нутряным голосом я назвал Яшку Малышом и укрыл одеялом.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Сыграем... наживём денег. Впрочем, «Дом восходящего солнца» мы готовы сыграть и за так», – вывернулись из памяти слова моего друга Жени Опоченина. В группе «Джуз» из-за чёрной бедуинской бородки и увлечения Востоком его прозывают Джафаром. Не так давно «Джуз» действительно выступал в «Жар-Пицце». Марина, я и Артемий были в тот вечер в ресторанчике и сами всё слышали. Выплёскивалась мелодия. Джафар красивым и хрипловатым, как у Тома Уэйтса, голосом пел:

*Матери, скажите детям
Не повторять моих ошибок,
Чтобы им не пришлось провести
Жизнь в грехе и нищете
В Доме восходящего солнца...*

Сердце моё, занявшись от восторга, встрепенулось.

Барабанщик Илья Колокольцев и гитарист Геннадий Горегляд тряслись в такт с солистом. Взвивалась песня. Какая-то рыжая растрёпа отвела от Джафара глаза и уставилась на корявого старика, усердно работавшего вилкой. Композиция ещё не закончилась, а у вертоголовой уже распаялись слёзы. «Ду-у-шевно», – перехваченным голосом вдруг известила она и тиснула сигарету в переполненную окурками и апельсиновыми корками пепельницу. Старик с перстнями на толстых коротких пальцах прищурился и спросил:

– Ты чё-то сказала?

– Ду-у-шевно – вот что я ска-а-зала.

– Антон, – представился старик, не переставая тратить жареную сёмгу.

– Ма-а-ша... Ма-а-рия...

– Восемнадцать-то есть?

– А двадца-а-ть не хочешь?

– Ко мне или к тебе?

– Ду-у-чше к тебе.

– Тогда чё сидим-жуём? Поехали!

Она прилепилась к нему, он потащил её за собой, открыв от напряжения рот. Столик, за которым ещё минуту назад извилисто беседовали эти двое, осиротел.

«Недоеденная сёмга, скатерть, яркие рты цветов... Кто отличит алое от алого?»

Горько-горько боль подтачивала нутро. Хотелось не думать о девушке, которая ушла со стариком, но всё равно думалось.

Потом, уже за полночь, когда я корпел над книгой о Достоевском, припомнился рассказ Опоченина. «Раньше, ну ещё до «The Animals», – повеествовал мой друг, – «Дом восходящего солнца» исполняли женщины... Нина Симон, например... Так вот, в песне поётся то ли о женской тюрьме, то ли о борделе. Мне кажется, что всё-таки о борделе. Ведь в начале позапрошлого века в Новом Орлеане сторе́ло заведение с названием «Rising Sun». И на месте пожарища впоследствии находили подозрительно много женской косметики. Сохранилась даже реклама этой лачужки... Некоторые фразы намекают на оказание интимных услуг...»

Как ни странно, тему, пусть и опосредованно, продолжил Достоевский. Перебирая архив, я наткнулся на свидетельство корректора Варвары Тимофеевой. Фёдор Михайлович, просидев однажды с нею весь вечер и ночь над очередным номером «Гражданина», разразился таким монологом:

«– Нынче весною – вот как теперь, на рассвете – возвращались с ужина после акта трое юношей – правове́ды. Но не были пьяны – отнюдь! – все были трезвы и даже вели между собой возвышенный разговор и читали стихи... Ну там, декламация из Шиллера, гимн Радости и Свободе... Самые чистые и возвышенные слова говорили, как подобает юности с идеалом в душе. И вот на Невском, где-то тут, подле нас, подле церкви Знаменья, попалась им навстречу женщина – из тех, которые ночью гуляют, потому что

это их промысел, они только этим и существуют... И вот эти юноши в возвышенном настроении и *с идеалом в душе* (любимое выражение Фёдора Михайловича, которому он придавал различные значения посредством оттенков голоса), почувствовав необычайное омерзение к этой женщине, истасканной, набелённой и нарумяненной, торговавшей собою... такое вдруг почувствовали к ней омерзение и такую свою необыкновенно высокую чистоту, что плюнули ей все трое в лицо. И были за это все трое привлечены в участок, к мировому. Я их там видел и слышал – ещё розовые и почти без усов. И вот там они, в камере мирового судьи, не желая платить штраф за бесчинство и личное оскорбление, красноречиво, по всем правилам высших наук защищали своё *«законное право»* поступить именно так, как они поступили, в порыве благородного негодования «на эту истасканную продажную тварь»...

Он замолчал, как будто припоминая, что было дальше, потом слегка наклонился ко мне и сказал, выразительно растягивая слова, чтобы дать мне почувствовать всю их силу:

– Каковы же должны быть у этих людей понятия о «возвышенных идеалах», если могли они совершить такую пошлость и низость! И потом ещё защищать своё законное право на основании высших наук! Ну, а если б ошиблись они? Если б не эту женщину они встретили, а если б это вы им попались навстречу, и ваше утомлённое работой и бессонной ночью лицо показалось бы им развратно-изношенным, – и они *вам* плюнули бы в лицо!..

Я невольно вздрогнула при этих словах и на минуту закрыла лицо рукою.

– Вы только представьте это себе! – возбуждённо продолжал он, как бы электризуясь моим волнением. – Вы – гордая, чистая девушка, труженица, усталая и измученная после целых суток труда, вы идёте одна – и вдруг вам плюнут в лицо, потому что оно *показалось* недостаточно чисто или свежо!.. А знаете, – закончил он вдруг со своей судорожно-измученной и как будто жестокой улыбкой, – знаете, я бы даже хотел, чтобы это *с вами* случилось. Какую бы я вам тогда в защиту речь написал! Как бы я их *испотрошил* тогда, этих возвышенно-благородных идеалистов, плюющих на женщину, декламируя Шиллера после ужина у Дюссо!..»

«Шиллер, Шиллер... Не раз и не два Фёдор Михайлович будет обращаться к нему в публицистике и романах. Взять хотя бы строфы из «Гимна Радости и Свободе»... Достоевский вложит их в уста Дмитрия Карамазова».

Свет полоскался, близилось утро.

Потянуло на веранду, но я отчего-то задержался в гостинной, включил телевизор. По «REN-TV» снова крутили «Брата». И снова Данила Багров прощался в питерском ресторанчике с Кэт, дарил ей пачку гринов. Вдруг привиделись ресторанчик волгоградский и корявый старик с молодой расчёпкой, и Джафар со своим «Джюзом», и «Дом восходящего солнца», и всё-всё, что так задело меня вчера.

...Сейчас, поглядывая на укрытого одеялом Яшку, мне и самому хотелось забыться и уснуть. Но возникли воспоминания всё те же и всё о том же... И даже сквозь дрему слышался голос, похожий на голос Тома Уэйтса:

*И вот я уже одной ногой на платформе,
А второй на подножке вагона.
Я возвращаюсь в Новый Орлеан...*

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Жёлто обозначило себя солнце.

Отец, почувствовав подживание сил, выбрался на веранду. Яшка последовал за ним и теперь, ёршась, наскакивал на перила, столик, кресло и особенно ноги. Видимо, это забавляло папу. Вдруг то ли знобко сделалось ему, то ли боль скатилась в кости, он скособочился и затих. И тотчас из гостинной послышался чей-то смех.

– Сколько время? – шатнулся вперёд отец.

– Ещё черти на кулачках не бились, – смеясь, ответил кто-то.

...Видение отлетело, и я открыл глаза.

«Нехороший это смех, словно «ад всесмешливый»... Что же ещё случится? Что?»

В папиной комнате поселилась тишина.

«Спит, а ночью не спал... Пора уж и мексидол колоть... Ладно, не стану пока будить, почитаю заметки Гулевича».

Закладка из сально-жёлтой тетради выпала, и я не сразу отыскал нужные страницы. Помогло ключевое слово: «Куба».

«7 сентября 1992 г. Куба, протянувшаяся с запада на восток на 1250 километров, напоминает ящерицу. Её голова обращена к Атлантике, а хвост – к Мексиканскому заливу. Где «хвост», там и Гавана. Вот туда – в столицу республики – мы и отправились на рейсовом автобусе. Дорога временами сваливается то влево, то вправо. Но если у нас, в Заволжье, «степь да степь кругом», то здесь – равнина. Даже берега низкие, кое-где заболоченные, а местами покрытые мангровыми зарослями. И много-много песчаных пляжей. Горы? Горы тоже имеются. Самые выдающиеся из них, конечно, Сьерра-Маэстра. Высшая точка – пик Туркино (1974 м). Что ещё? Сезон дождей – будь он неладен! Садись в автобус – лило, скоро выходить – всё так же льёт».

«8 сентября 1992 г. Как только прибились в Гавану, я утащился в порт. Беззвучные сполохи пошевеливали небо. Мачты рыбацких судов с чудовищными удавками верёвок на шее темнели под этим отекающим дождём небом. У причалов жёлтая пена и щельё. Местность искажилась, всё измордовал ветер. Неожиданно подвернулся молодой мокрогубый мулат. Его блестящие глаза странно соединяли в своём выражении задумчивость и насмешку. Он-то и объяснил, как найти дом-музей Эрнеста Хемингуэя.. День укорачивался. Я поймал такси и поехал на юго-восточную окраину города».

«9 сентября 1992 г. Для заведующего универмагом Володи Гермаша Куба – это сигары, для спортсмена Юры Колоскова – бокс, для кока Рауфа – сахар, для инженера Толи Красноармейцева – никель, для лингвиста Иосифа Иосифяна – испанский язык, а для меня – «барбудос» и Папа Хэм.

«Барбудос» («бородачи») – так называли кубинских революционеров. Хемингуэй, кстати, относился к ним с симпатией. Молодые партизаны, засевшие в горах Сьерра-Маэстра, жаждали покончить с диктатурой Батисты. После того, как в апреле 1958 года полицейские обыскали дом писателя и убили одну из его собак, он понял, что отныне жить на Кубе становится слишком опасно, и решил уехать. Хемингуэй перебрался в Соединённые Штаты и уже там узнал, что 2 января 1959 года солдаты Кастро вошли в Гавану.

Потом он вернётся. Но это будет уже другой Хемингуэй. Не тот, который останавливается перед «наивными синими цветами», не тот, который замечает, как «белый парус своим кротким цветом отражает солнце». Этот

Хемингуэй болен. Он сделал всё, на что был способен. «Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда». Большого он не может. Здесь, в усадьбе Финка Виджия, он покончит с собой.

Вера потеряна, и «сердце его продрогло в одиночестве». Ему бы убеждённости Платонова в том, что «одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он проникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, и прошлому времени и будущей надежде – тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепости веры в необходимость своей жизни».

Кубинцы любили писателя. Несмотря на безденежье, они поставили ему памятник, пустив в переплавку якоря и цепи. А что творилось, когда люди прочитали «Старик и море»! В церквах о новелле говорили в проповедях, приводя её как пример борьбы человека с невзгодами. Сам же Хемингуэй пожертвовал золотую Нобелевскую медаль Мадонне дель Кобре, покровительнице Кубы.

Усадьба Финка Виджия стала музеем. Повсюду охотничьи трофеи. На стеллажах – книги. Много книг. Говорят, тысяч девять... Писатель работал в спальне – там пишущая машинка. Рядом, в студии, коллекция оружия и фотографии его троих детей. Кажется, он вышел и вот-вот вернётся. Даже его ботинки 48-го размера выставлены для проветривания перед дверью. И пускай...

*Пускай меня простит Винсент Ван Гог
За то, что я помочь ему не мог,
За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,
За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков...*

Да, писатель причисляет Ван Гога к тем, у кого он больше всего почерпнул... К Марку Твену, Флоберу, Стендалю, Баху, Тургеневу, Толстому, Достоевскому, Чехову, Босху, Брейгелю, Гойе, Джотто, Гогену. Вот уж действительно: «унизил бы я собственную речь, когда б чужую ношу сбросил с плеч».

...Рыбаки, оказавшиеся возле усадьбы Хемингуэя, показали дорогу к гостинице. Пока добрался, стемнело. Руки холодели, словно таяли. По телу города бил ветер. На душе было щемливо».

«10 сентября 1992 г. Встали рано. Свет народившегося дня переплёлся через крыши домов. Всем экипажем пошли окрестности Гаваны смотреть. Перебивая один другого, разговаривали. И только Иосиф норовил откачнуться, вывалиться из разговора, как из яхты.

Вдруг Толя Красноармейцев вскрикнул. Пока я подбежал к товарищу, весь ливер во мне уже болтался. Подбежали и другие. Между камнями текла змея. Капитан не раздумывая стал лупить её палкой. «Всё, Иосиф, всё, издохла, остановись!» – кричали ему. И он остановился. Потом посыпались дальше, а Иосиф шёл за нами и оглядывался, готовый оборонять нас снова, если гадина оживёт и погонится...

Проплещисто желтели цветы. Солнце лютовало, и капитан сказал: «Жарко, точно на макушку горячий лаваш положили...» От этого «лаваша» сделалось радостно. Может, потому, что Иосиф был в это мгновение прежним Иосифом?

Но вот упала темень на округу. Церковь показалась из городских закоулков, зеленели пальмы возле домов. Гавана ещё не спала. Желтушные кружки света расплзались из ресторанчиков, заманивая прохожих. И вот мы все: Володя, Юра, Толя, Рауф, я и наш капитан Иосиф – уже сидим за одним столом, пьём вино, смеёмся, вспоминаем сегодняшний отградный день».

«11 сентября 1992 г. «Человек без работы начинает заглухать», – сказал Иосиф и потянул нас на рыбалку. Пошли с местными на их лодке. Вода цеплялась за прибрежные камни, табунилась на середине залива. За день наворочали с десяток марлинов... Однажды напротив замка Морро Хемингуэй поймал на крючок марлина весом в 750 фунтов. В течение полутора часов гигантская рыба вела борьбу, утащив яхту писателя на восемь миль в океан, и в конце концов оборвала леску... Нам такой рыбины даже встретить не удалось».

...Сам того не ожидая, бросил «судовой журнал».

Вскочил. Прислушался: за окном – гомонящаяся мирщина, в папиной комнате – что-то неладное. Отец ахнул так, будто оступися голой пяткой в костёр. Я побежал. Только по виду папиному понял, что ещё один инсульт сотворил своё чёрное дело.

Врач «скорой», сделав всё, что должен был сделать, уходя, посоветовал не тревожить больного без надобности. Вечером, когда Марина увидела свёкра, слёзы начали подниматься к её глазам. Успокоив жену, сам я так и не отпустил чего-то в себе, не заплакал.

Всё думал: «Вот и посмеялись «духи злобы поднебесные», похохотали...»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

«Он как красное яичко. У него и рука смеётся, и нога смеётся», – говорил когда-то отец о своём брате Юрии, погибшем во время пожара. Я часто вспоминаю отцовские слова, самого дядю Юрия – эту светлую душу.

Какая-то по-особенному тоскливая, сонная неподвижность охватила меня ещё в первооттепель, когда заболел папа. И не отпускала до очередной годовщины дядиной смерти, до 30 мая.

В Казанском соборе шла воскресная служба, я молился об упокоении души усопшего раба Божия Юрия и о здравии раба Божия Николая и вдруг почувствовал, что тоску-печаль уняло. Вернулся домой. Открыл ноутбук и впервые за месяц стал писать...

«В одной полемической журнальной статье Достоевский назвал смех Гоголя смехом без идеала: «Явилась потом смеющаяся маска Гоголя, со страшным могуществом смеха, – с могуществом, не выразившимся так сильно ещё никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает перед нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым он мог бы смеяться». Сам же Гоголь в «Театральном разъезде» писал: «Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во всё продолжение её. Это честное, благородное лицо был – смех».

Ф.М. Достоевскому, напротив, было важно не столько бичевать смехом, сколько увлечь примером нравственного и эстетического идеала. Комические ситуации, в которые романист ставил своих положительных героев, выявля-

ют прежде всего их нравственную красоту. «Это тот комизм, в «подкладке» которого трагедия».

«Почему же Гоголь, – ущипнула мысль, – не выразил свой идеал? Может быть, не любил? Не посвящал возлюбленной поэму? Всё так, да, всё так... Ни он, ни его герой не имели такого проводника в «рай», как Беатриче (блаженная). При этом ни «чистилища» – второго тома «Мёртвых душ», ни тем более «рая» не вышло. Был явлен только «ад», населённый собакевичами, плюшкиными, ноздрёвыми и корбочками...»

Всё обдумав, я решил, что Достоевский, любивший Гоголя с самой своей юности, конечно, имел о его творчестве представление сложное и глубокое, вряд ли укладывающееся в одну полемическую журнальную статью. Да ведь и крупнейший достоевист Бахтин писал: «Не может быть изолированного высказывания. Оно всегда предполагает предшествующие ему и следующие за ним высказывания... Оно только звено в цепи, и вне этой цепи не может быть изучено».

«Контекст, контекст... Впрочем, это относится не только к Достоевскому, но и к другим... И вот ещё что... Кажется, по легенде, последними словами Гоголя были: «Лестницу! Дайте скорее лестницу». Так разве не перекликаются они с его самым первым сборником рассказов? Надо бы проверить...»

Стал проверять и вот нашёл: «Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далёкой земле такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нём на землю ночью перед светлым праздником. Нет, Галя, у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Её становятся перед Светлым Воскресением святые архангелы; и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле».

«Всё-таки был у Гоголя идеал, был. И одержимость идеей была... А что пересиливало, неизвестно... Всё непросто... Когда в душе Ставрогина не осталось любви, он повесился... Гоголю тоже ничего не оставалось, он умер... Не написал ни своего «чистилища», «ни рая». Не воскликнул: «О Беатриче, милый, нежный вождь!» Не в этом ли трагедия?»

Долго-долго ходил я из угла в угол, иногда останавливался, прислушиваясь к тому, что делается в комнате папы, потом сел за ноутбук...

«На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, – говорил Достоевский.

<...> из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон.

Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот, но всё-таки огромная) тоже смешон и тем только и берёт. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному – а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора...»

Итак, Достоевского привлекало именно «освещённое юмором и даже осмеянное прекрасное». Судя по его романам, в создании характеров он не следовал пушкинскому «прекрасное должно быть величаво». Отсутствие самодовольства и самоуспокоенности – вот необходимая черта нравствен-

ной красоты человека. Это, как думал Фёдор Михайлович, «типическая черта русского народа, и поэтому она так значительна и необычайно поднимает в красоте каждого человека».

В понятие «красота» романист вкладывал глубокое содержание: «У обыкновенных, текущих людей красота условна. И тогда только очищается чувство, когда соприкасается с красотой высшей, с красотой идеала». Стоит лишь потерять «идеал красоты», рассуждал Достоевский, и общество распадётся.

«Да, есть «красота садовая» и «красота мадоннская». И «есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос». Он в каждом его романе, в каждом... все спорят со всеми о Христе, о Божественной весте. Но заканчиваются все споры одним: «И в тот день вы не спросите Меня ни о чём».

...Взгляд отца словно говорил: «Ходи, изба, ходи, горница!» Отец очень теперь напоминал дядю Юрия. Так же улыбался, так же щурил глаза. Вот только не говорил, не отпускал шуток.

На тарелке желтели просвиры, принесённые из церкви. Когда мой старик заметил их, то помрачнел. Возможно, осознал, какой сегодня день. Я намылил ему щёки пеной и осторожно начал пластать бритвой. Он закрыл глаза, точно не мог больше выносить падавшего в окно света.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Отуманивало улицу, отжимало темень обратно в тень пальм и домов. Огни усадьбы, полыхая, протыкали пространство. Окна были растворены, и слышался разговор:

– Хорош, да уж простоват слишком, – сказала Аделаида, когда вышел князь.

– Да, уж что-то слишком, – подтвердила Александра, – так что даже и смешон немножко.

– Разве немножко? – встrepенулась Аглая. – А борода? Борода как у барбудос... Сам худой, бурный, бегучий, всего в нём навалом – и легкомыслия, и расхристанности, и доброты...

Обрывки странного разговора вертелись в голове, пока я не пошёл в ванную. Постоял минуту под горячей водой, ещё одну – под холодной. Сон окончательно смыло. Быстро растёрся полотенцем. Провёл рукой по запотевшему зеркалу.

«И худой, и бегучий, и с бородой... Надо бы это... поскоблиться, навести красоту».

Пока прощался с бородой, чуть не порезался «жиллетом». Всё вспоминал сны, которые рассказывал Артемий. Он прихварывал в последнее время, поэтому, видимо, и снилось ему чёрт-те что. То горел наш дом, причём сын сам его жертвенно и запаливал, то его зашучивали при краже яблок, то жалили осы.

«Какowo живётся, таково и спится...»

Да, я успокаивал сына. Но все слова мои, кажется, скользя, пролетали мимо. Нечто похожее, судя по письмам жене, испытывал и Ф. М. Достоевский. Я нарочно перечитал их, чтобы удостовериться.

«Какой я видел сон недели за три до кончины тётки, – писал Фёдор Михайлович. – Я вхожу будто к ним в залу; все сидят, и тут будто мать-

покойница. Много гостей и большой пир. Я говорю с тёткой и вдруг вижу, что в больших стенных часах маятник вдруг остановился. Я и говорю: это, верно, зацепилось за что-нибудь, не может быть, чтоб так вдруг встал. Подошёл к часам и толкнул опять маятник пальцем; он чиркнул раз-два-три и вдруг опять остановился...»

И там же: «<...> С субботы на воскресенье, между кошмарами, видел сон, что Федя взобрался на подоконник и упал из 4-го этажа. Как только он полетел, перевёртываясь, вниз, я закрыл руками глаза и закричал в отчаянии: «Прощай, Федя!» И тут проснулся. Напиши мне как можно скорее о Феде, не случилось ли с ним чего с субботы на воскресенье. Я во второе зрение верю, тем более что это факт, и не успокоюсь до письма твоего».

Анна Григорьевна Достоевская ответила: «<...> Успокойся, дорогой мой и милый... Дети совершенно здоровы, и Федя в ночь с субботы на воскресенье не падал с 4-го этажа, а спал благополучно в постельке. Милый мой, прошу тебя, не верь ты снам и предчувствиям...

<...> Цалую и обнимаю тебя много раз, миллиарды раз, думаю, люблю, но *не верю* моему супругу».

Вскоре Достоевский прислал ещё письмо: «Я, Аня, всё нездоров... в голове туман, всё точно кружится. Никогда ещё даже после самых сильных припадков не бывало со мной такого состояния. Очень тяжело. Боюсь очень за голову. Сам не понимаю, что со мной делается».

«Пересечение территорий снов и яви, – ковырнуло меня, – вон сколько раз это было и в романах, и в «Дневнике писателя». Достоевский действительно придавал значение снам. И особое среди них место занимали сны о рае... Да, вот только... Один рай изначально давался Богом как подарок, другой достигался через Его отрицание и осознание потери».

Так, не для книги – для себя захотелось вдруг прокрутить эту тему. Давно уже были отмечены карандашом нужные места в «Бесах» и «Подростке», а в «Дневнике писателя» и вовсе желтела закладка. В общем, было что почитать, и я начал со сна Версилова:

«Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и рождались с людьми... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; луга и рощи наполнялись их песнями и весёлыми криками; великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей... Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век – мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть!.. Ощущение счастья, мне ещё неизвестного, прошло сквозь моё сердце, даже до боли; это была всечеловеческая любовь».

«Впрочем, всё это было во сне, – думал я, – в реальности же были «брань и логика», война и разум... Проснувшись, Версиров увидел не что иное, как «последний день разделившегося человечества». И ещё Европу, восставшую на Бога».

А это уже не сон, а фантазия: «...Люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходит, как величавое, зовущее солнце в картине Клода Лоррена. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. И вот тогда весь избыток прежней любви к Богу

обратился бы у людей на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Сознав свою конечность, они стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, созная, что дни коротки, что это всё, что у них остаётся...» Когда же пришёл к ним Христос, всё переменялось. «И тут как бы пелена упала со всех глаз и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения...»

«Клод Лоррен... К его «Асису и Галатее», – ушибло вдруг, – Достоевский обращается не только в «Подростке», но и ранее в «Бесах». Ставрогину, называвшему эту картину «Золотым веком», она даже снилась... Это был только образ счастья, но не само счастье... Ложь, именно ложь убила всё... То же случилось и во «Сне смешного человека». М-да... Стоило герою оказаться среди счастливых людей, как он тотчас научил их лгать, и они полюбили ложь. Началось разъединение, зло, войны... Но когда смешной человек пробудился, он уже не лгал во всю губу, не развращал... Он полюбил «других как самого себя». Он воспринял эту много раз повторявшуюся истину как руководство к действию».

...После обеда Марина поехала к портнихе, а отец заснул.

Артемий тоже стал носом окуней ловить, пришлось выключить телевизор и уложить сына в кровать. Голову обносило мыслями о благостной жизни невинных детей из «Сна», но мелькало и другое...

*И вправду чуден был язык воды,
Рассказ какой-то про одно и то же,
На свет звезды, на беглый блеск слюды,
На предсказание беды похожий.
И что-то было в ней от детских лет,
От непривычки мерить жизнь годами
И от того, чему названья нет,
Что по ночам приходит перед снами,
От грозного, как в ранние года,
Растительного самоощущенья...*

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

«М-да, «растительного»... Выбрал поэт слово, так выбрал! Особое слово. Вот только говорят, что «особые слова – часто от лукавого». И что «лучшие стихи – это как раз с верха сердца взятые». Мол, «когда особые слова выбираются, то и стихи напрасные...» Нет, не напрасные... Не могу согласиться. И Арсений Тарковский не смог бы... Потому как поэзия для него – это, безусловно, выбор. «...Выбрать может только богатый миром – бедный схватит первое попавшееся или всё... Поэту свойственна, как и безумцу, исключительность выбора... детский язык таков же...»

Размышления эти латали провалы памяти. Да, я как бы снова оказывался в том времени, когда только-только полюбил. Было это в дни научной экспедиции, и была поэзия, и было всё по-другому...

Начинался август 2004-го. Пустая дорога выходила из Николаевска и терялась в степи, палимой здешним солнцем. Ничто не отвлекало от молитвенного созерцания. Эта пустая дорога на глазах превращалась в старинный чумацкий шлях. Когда-то он связывал Эльтон – «главную солонку Россий-

ской империи» – со слободой Николаевской. В прошлом столетии соледобыча на «золотом озере» заглохла; чумацкое поселение при строительстве электростанции сокрыло Волгоградское море, а то, которое появилось на новом месте, громко нарекли городом.

«Вот я смотрю из памяти моей» и вижу. В тот день, когда началась экспедиция, степь была в смутной тоске жары. Наконец мы оказались там, «где на рогах воды качали степное солнце чумака...» Временами останавливались. Выходили из запылённых автобусов. Сверялись с картой, курили. Женя Опоченин, цвиркая сквозь зубы слюной, фотографировал окрестности, а заодно и нас. Потом всё повторялось. Экспедиция то двигалась, то замирала...

Когда я снова глянул на солнце, оно уже по пояс в землю ушло. Вскоре мы въехали в темноту. Ужинали, помню, наспех, ведь все порядком устали. Кто-то лёг в автобусах, кто-то в палатках, кто-то, как и я, в спальнях мешках. Себе я выбрал место позади лагеря, у подножия кургана. Вытянулся во всю длину мешка и тут же скатился в сон.

Проснулся за полночь, оттого что лица что-то коснулось.

То были волосы, тёмные волосы девушки, которую я заметил ещё днём. Звали её, кажется, Марина. Мне хотелось спросить, так ли это, но она вдруг сказала:

– Ты похож на валун.

– Почему?

Она не ответила.

– Так почему?

– Да потому что... И на курганах валуны спят как цари сторожевые, опившись оловом луны...

– Одно «но». Этот валун спит возле курга...

Девушка не дала мне договорить и поцеловала... Через час, обессиленная, она заснула у меня на плече, и я старался не шевелиться. Волосы её пахли степью. И запястья, и девичьи груди тоже пахли степью, всеми её росами и травами. Была она лёгкая, тихая, колдовская... И только время утекало. Когда задрожали первые волны рассвета, Марина выскользнула из моих объятий и упорхнула.

«Я давно тебя выбрала, – припомнились её последние слова, – ещё когда ты был на пятом, а я на первом курсе. Знаешь, увидела тебя в университетской библиотеке. Подумала: этот сероглазый царь будет моим. Но ты окончил журфак и ушёл... И вот эта экспедиция... Я надеялась, что мы встретимся. Обещай, что больше не уйдёшь! Обещаешь?»

Не знаю, был ли я готов тогда что-то обещать?

«Может, сладкоголосая колдунья мне просто приснилась?» – спрашивал я сам себя в то утро, и тревога ела душу.

Забормотал ковыль, но и он не дал ответа. И вдруг вдалеке, в плоскости утомительного пространства, заблестало озеро. Какая-то сила вытолкнула меня из спального мешка. Застегнул на ходу рубашку и пошёл к Эльтону. На берегу, там, где съжились старые деревянные клетки, стояла Марина. Она обернулась, и я увидел её глаза. Услышал свой обещающий голос: я говорил, что больше не уйду.

...Вечером в лагерь приехал Христенко.

Начальник экспедиции Володя Сарнов докладывал главе района о питании детей, об их размещении и о многом другом, о чём в подобных случаях докладывают руководству. Александр Иванович по старой флотской привычке вникал во всё. Он расспросил взрослых участников экспедиции и детей

о том, как им тут всем живётся и работается. Переговорил с профессором Супруном, готовым даже ночью изучать собранный фольклорный материал. Подошёл и к нам, журналистам.

Марина, я, Женя Опоченин и Миша Ломако грелись возле костра, и Христенко тоже стал греться. Мы спасались огнём, подшевеливая его. Пили чай с чабрецом, искусно приготовленный Опочениным по какому-то лишь ему ведомому рецепту, и разговаривали.

– Как экспедиция, Марин, – спросил Христенко. – Будет о чём написать в «Областных вестях»? Ведь вы, кажется, оттуда?

– Ну да. И это моя первая командировка, но я постараюсь. Вообще-то я не совсем чужая... Дедушка мой, Василий Степанович Крещевников, – из местных.

– А поточнее! – заинтересовался глава района.

– Предки его чумаковали в этой степи... А сам он из Бережновки.

– Так-так, воевал в Сталинграде и, по-моему, бывший ординарец начальника штаба тринадцатой гвардейской дивизии?

– Значит вы, Александр Иванович, дедушку знаете?

– Да, работа такая: знать.

– Хорошо здесь, в степи.. – вздохнула Марина.

Христенко посмотрел на неё, подумал, потом сказал:

– Здесь токи истории... Здесь можно услышать далёкие голоса предков.

Но степь открывает свои тайны лишь людям чутким к ценностям непреходящим... Поэтому здесь нельзя фальшивить и лгать...

– А ещё здесь воля, – встрепенулся вдруг Миша Ломако и чуть не уронил очки.

– И Марина как Мариула... вольнолюбивая героиня пушкинских «Цыган», – сказал я.

Опоченин же, подбросив в огонь сушняка, добавил:

– И Овидий здесь писал свои песни.

С Овидием был перебор, и мы, не выдержав, засмеялись. Христенко тоже засмеялся, причём совершенно по-детски. Потом тронул усы бобриком, сказал, что засиделся и что ему пора.

Мы проводили Александра Ивановича до машины.

Начинал прозябать рассвет...

«Отчего я любил степь? – подумалось, словно выпелось. – Ну отчего? Ведь и вправду, я всегда её любил! Да, первыми попавшимися словами не выразишь. Нужны особые. Вот как эти... «За желть и жёлчь любил я этот край...» Точнее, пожалуй, и не скажешь».

Артемий свалился в полудрёме с кровати, но не испугался и не заплакал. Потом пробудился папа, вернулась от портнихи довольная Марина. В доме началась громовень-стуконень и не утихала, пока не развернулась ночь.

Где-то после одиннадцати я вышел на веранду.

Тусклый свет фонаря не прерывал сговора теней. Дом чётко вырисовывался в темноте, которая поглощала его, как только фары проезжавших мимо машин гасли.

Вот теперь-то и можно было мысленно приглядеться к чуду.

Я опустил в кресло и закрыл глаза. Вскоре предо мной поплыли чумацкий шлях, слобода, Эльтон. Слух мой изострился до предела, и я услышал, как «ржа пустыни щепотью соды ни жива шипит, ни мертва...»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

– Мёртв директор аукционного дома Подобедов. Застрелен бизнесмен Ягужинский, тоже, кстати, замазанный во всех этих скандалах с недвижимостью. Убит старик-дворник, скорее всего, случайно увидевший лишнее. – Игорь Алексеевич потёр переносицу и замолчал.

– А что у Ивана? – спросил я.

– У Ивана? Ну, тянет он из этого аукциониста истину, тянет... как алхимик редкое вещество из реторты. Знаете, Гринёв – это такой умный дурак... Намекнёт, обнадёжит – и снова молчок. У него спрашивают: где ночевали? А он: под шапкой. Ему говорят: помогите следствию. Но не тут-то было... фиги в карманах... И во взгляде: не доел, так долижу.

– Может, повнимательнее присмотреться к Иосифьянам?

– Да, не мешало бы покрутиться возле ресторана Мушега и всех этих контор Самвела. Правда, Татьяна больше не помощница нам, в положении девочка...

– И хорошо!

– Конечно, хорошо... дедом стану. Но вам одному соваться никак нельзя. Вникли?

– Думаю, Опоченин согласится.

– Алексей Николаич, вы только растолкуйте другу... Ну, что не надо, мол, мельтешить. Вдруг стрелок в самом деле из окружения Иосифьянов... Руки-то у него губительные.

«Что ж, пора в поле!» – решил я.

И коль заваялся двухнедельный отпуск, то я поспешил его взять. Опоченину, обременённому сейчас лишь сольными выступлениями в ночном клубе жены, и вовсе ничто не мешало устанавливать социальные связи Иосифьянов.

Итак, мы взялись за братьев!

Выяснили, что бронированный джип Мушега почти никогда не отклонялся от маршрута «дом–ресторан–дом». Это к нему, старшему из Иосифьянов, коммерсанты на поклон ездили, но не всегда бывали приняты. Одни челобитчики отступали, смиряясь, другие являлись вновь. И тогда этот массивный, с большим животом, крупным мясистым лицом, крупным носом, седобородый и седовласый, мертвенно-бледный армянин внемлил их просьбам. Наибольшего влияния он достиг при Цеповязе. Говорили, умел делиться.

Самвел на старшего брата мало чем походил. Домом, где иногда виделся с семьёй, и думой, где также иногда виделся с коллегами-депутатами, не ограничивался. Наезжал и в собственные строительные фирмы, и к любовницам, и в братнин ресторан. Не забывал, впрочем, и о саунах с банями, и о боулингах с бильярдами. Боксёрские же турниры, на которых Самвел Иосифьян, по прозвищу Подбородок, обычно крутился, вообще не в счёт. Как бывший спортсмен, он часто звался в жури. Не то чтобы судить-рядить, скорее, так, для веса. Да и кошелёк охотно раскрывал. Помогал, значит, молодым дарованиям.

Поэтому-то в объектив опоченинской фотокамеры и попал двадцатилетний волгоградский чемпион Тахир Ахмеров. Вот Иосифьян наблюдает за тренировкой подопечного, вот Тахир выходит из конторы покровителя, а вот они в ресторане.

Вспомнился и один прошлогодний бой, который я смотрел с Гулевичем. Когда боксёр в чёрных перчатках картинно-безобразно упал, выронив капу, в красном углу ринга началось беснование. Победитель вскочил на канаты,

а толпа ревела: «Ахмеров!» Сразу ожила «Арена в Арле» – этот восторженный и дикий шедевр Ван Гога. Красный, жёлтый, много жёлтого, много серого и чёрного – мелькнули предо мной.

Ахмеров... Теперь я точно знал, где слышал эту фамилию. Так звали шеф-повара ресторана «Армения» и кока, прошедшего с Иосифом Иосифьяном шесть морей и один океан. В общем, Рауф Ахмеров был отцом Тахира.

Как ни странно, вне ринга Тахир никогда никого «не складывал и не вычитал». Был сдержан и вежлив. Носил чёрные костюмы и белые рубашки с запонками. Самвел Иосифян с двойным подбородком и массивной золотой цепью своему подопечному явно проигрывал. Особенно на снимках Опоченина.

Каждое слово Тахира, взгляд, манеры – всё обличало ум и пронизательность. Да и красив он был. Моргал угольно-чёрными глазами, водил неслабыми плечами. Вот только не хватало живой игры складок на лбу. Впрочем, какие складки у маски? Какая живость? Казалось, это о нём, о его детстве: «...дети там играли не игрушками, а одним воображением». И только на ринге всё менялось. Противник рушился, и маска летела прочь...

Игорь Алексеевич дослушал меня и спросил:

- Значит, этот молодой татарин опасен?
- И не сомневайтесь... Любого в могилу вошьёт.
- Что у него за роль во всей этой истории? Как думаете?
- Во-первых, Самвел Иосифян делает на него ставки...
- На тотализаторе?
- Ну, да... Во-вторых, возможно, молодой человек выполняет и кое-какие поручения...
- Наш стрелок?
- Вряд ли... Тахир ведь по хукам специалист...
- Вот-вот, – густым голосом сказал Игорь Алексеевич, – и Подобедова перед смертью такой же специалист перекрестил. Вникните!
- Да, Тахир опасен, но, повторяю, он не стрелок.
- Может, работает с ним в паре? Ну типа «мы с Утюгом всегда вместе», а?
- Не знаю, не знаю, – почесал я свой худой резкий кадык.
- Доказательств бы! – Гулевич вскочил из-за стола, заваленного бумагами. – Ну да ладно, – умиротворился он вдруг, – будут и доказательства... Знаете, э-э... А ведь вы с Опочениным молодцы! За две недели столько нарыли!
- Немного, если разобраться...
- Вот что, в выходные к Щукарю махнём, порыбачим-посудачим. Вы как? Сможете?
- Вообще-то «остров Людникова» собирался обследовать... Мемориал тамошний... совсем уж прах или...
- Алексей Николаич, едва не забыл... По вашей же просьбе, и с минфином, и с депутатами всё порешал. Короче, на следующей неделе сделаем передвижки на ремонт мемориала...
- Тогда я за рыбалку.
- Так, зовёте Женю Опоченина, а я – Ивана... Идёт?
- А то!

...Дорогой обдумывал разговор с другом.

Всё пытался ответить: убийца ли Тахир Ахмеров?

Ответить не смог.

Вернулся домой, когда сад уже освещала луна, а ветер зачёсывал деревья и травы.

На небе вызревали звёзды.
Во мне – план новой главы.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Тени сплотились, наступила покойная ночь.

Всё сказанное днём забылось, как «посторонний шум». И только Достоевский скрипел пером. И я словно видел его согбенную фигуру. Он писал прокурору окружного суда А. Ф. Кони. Благодарил за то, «что приговор будет обращён к исполнению лишь тогда, когда он сам найдёт это по своим соображениям удобным».

«Что за приговор? О чём речь?»

«На первых порах своей новой деятельности, – как поясняла впоследствии А. Г. Достоевская, – Фёдор Михайлович сделал промах, он поместил в «Гражданине» (в статье князя Мещерского «Киргизские депутаты в Санкт-Петербурге») слова Государя Императора, обращённые им к депутатам.

По условиям тогдашней цензуры речи членов императорского дома, а тем более слова Государя могли быть напечатаны лишь с разрешения министра императорского двора. Достоевский не знал этого пункта закона. Его привлекли к суду».

29 января 1873 года в «Гражданине» вышла та самая статья о депутатах. Достоевский попал под суд. По приговору он должен был провести два дня на гауптвахте и заплатить штраф в 25 рублей. Но отбывал наказание нарушитель цензурных правил лишь в марте 1874 года – нашёл наконец «по своим соображениям удобным».

Анна Григорьевна Достоевская вспоминала:

«<...> 21 марта, утром, явился к нам околоточный, Фёдор Михайлович его уже ожидал, и они поехали... его поместили на гауптвахте...

Я тотчас отвезла туда небольшой чемодан и постельные принадлежности.

Времена были простые, и меня тотчас к мужу пропустили. Его я нашла в добродушном настроении: он стал расспрашивать, не скучают ли по нём детки, просил дать им гостинцев и сказать, что он поехал в Москву за игрушками.

Вечером, уложив детей спать, я не утерпела и опять поехала к мужу, но, за поздним временем, меня к нему не пропустили, и мне только удалось передать ему свежие булки и письмо.

Мне было так обидно, что не удалось с ним поговорить... Я пошла к Аполлону Майкову (жившему поблизости) и просила его завтра навестить мужа».

Поэт Майков навестил не только Достоевского, но и молодого критика Всеволода Соловьёва, который потом рассказывал:

«Утром 22 марта пришёл ко мне Аполлон Майков.

– А я к вам, знаете, откуда? – сказал он. – От узника: сидит наш Фёдор Михайлович... Ступайте к нему, он ждёт вас...

<...> Я застал Достоевского в просторной и достаточно чистой комнате... Он мне обрадовался, обнял и поцеловал меня.

– Ну вот и хорошо, что пришли, – ласково заговорил он. – А то вы совсем пропали в последнее время... Скажите, отчего вы пропали? Или на меня сердитесь?..

– Да я и не думаю сердиться... Я столько раз к вам собирался, но вот никак не мог собраться: я нигде не бываю; по целым дням сижу дома.

Он задумался.

– Я отлично понимаю ваше состояние, я сам пережил его. Это та же моя нервная болезнь, может быть, в несколько иной форме... Ведь я вам рассказывал – мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... О! это было большое для меня счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление... Ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял... Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются... Ах, если бы вас на каторгу!..

Это было сказано до такой степени горячо и серьёзно, что я не мог не засмеяться. Вдруг он схватил книгу, за которой я застал его, и сказал:

– Вот чем я теперь зачитываюсь: это вещь замечательная, великая вещь!..

Книга была «Les Misérables» Виктора Гюго. И горячая похвала, даже восторг перед нею оказался не капризом, не минутным впечатлением. Достоевский до последних дней своих восхищался этой книгой.

Восхищался, но...

«У Виктора Гюго, – писал два года спустя Достоевский, – бездна страшных художественных ошибок, но то, что у него вышло без ошибок, равняется по высоте Шекспиру».

Впрочем, Достоевский был и сам бит... Толстым...

«Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, – утверждал Лев Николаевич, – я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил... Но у него можно найти и непростительные промахи: Идиот говорит: «Осёл добрый и полезный человек», – но никто не смеётся, хотя эти слова неизбежно должны вызывать смех...»

Только через тридцать лет после смерти Достоевского Лев Толстой мнение переменил...

«Когда открылся Художественный театр и вся Москва восхищалась «Фёдором Иоанновичем» Алексея Толстого, Л. Н. оставался в стороне один и удивлялся, как это могут люди так восхищаться такой посредственной, неоригинальной, фальшивой вещью...»

<...> Кто-то сказал, что «Фёдор Иоаннович» имеет много общего с «Идиотом» Достоевского.

– Вот неправда, ничего подобного, ни в одной черте. Помилуйте, как можно сравнивать «Идиота» с «Фёдором Иоанновичем», когда Мышкин – это бриллиант, а Фёдор Иоаннович – грошовой стекло...»

«Что тут скажешь, коль «стекло грошовой»?.. Помнится, один платоновский герой сравнивал плохие книги с нерождёнными детьми. Да-да, с детьми, «погибающими в утробе матери от несоответствия своего слишком нежного тела грубости мира...» Впрочем, этот же самый герой считал, что «скучных и бессмысленных книг нет, если читатель бдительно ищет в них смысл жизни...» Опять, пожалуй, парадокс... Что происходит, чёрт возьми? Никак ливень?»

Было слышно, как в темноте ровно льются с неба потоки.

Яшка, обмирая от страха, забился под стол.

«Бедолага...»

Вдруг животина осведомила о чём-то усадистым голосом.

«Может, это покой и надежда вошли в него?»

Жизнь Яшкина и впрямь налаживалась. Он уткнулся мне в ноги, успокоился до утра.

«Не знаю... Возможно, читатель и должен сквозь «скуку сухого слова» отыскивать то, что ему требуется?»

Серый, светящийся сад разрастался за окном.

«Да, не знаю... Это Платонов знал, что «скучные книги происходят от скучного читателя... ибо в книгах действует ищущая тоска читателя, а не умелость сочинителя». Сам он – сочинитель прихотливый, с импрессионистским видением мира... и, конечно, интересный... Один лишь «Джан» чего стоит!»

Сад был освещён утренним небом.

«Нет, книги не должны быть скучными. Писатели просто обязаны ручаться за интерес».

На небе обнажилось солнце.

«М-да... нужно заканчивать главу...»

Мысли перестали уродовать одна другую, и я снова придвинулся к ноутбуку. Теперь-то я точно знал, что заканчивать нужно свидетельством сотрудницы Достоевского Варвары Тимофеевой...

« – А что если б я взял у вас эту книгу на одну только ночь? – спросил как-то Фёдор Михайлович. – Завтра же возвращу вам её обратно. На одну только ночь. Я книг никогда не зачитываю!» – резко прибавил он, пристально глядя мне прямо в глаза.

Я, разумеется, поспешила уверить его, что хотя книга и не моя, но лицу этому будет приятно, если он возьмёт её почитать. И Фёдор Михайлович, очень довольный, унёс с собой этот, кажется, второй том «Les Misérables», историю Фантины... Но в тот же самый день с ним произошёл известный «казус», о котором я узнала только неделю спустя от самого Фёдора Михайловича.

– Знаете, где я все эти дни пропадал? – прошептал он мне «по секрету», как только мы остались вдвоём в конторе. – Под арестом сидел на Сенной, на гауптвахте. За пустяки!.. Так, один маленький редакторский грех... И всё это время я там читал вашу книгу, – смеясь, рассказывал он. – Книга эта как была у меня в кармане пальто, так меня с ней и засадили туда. <...> Я вам теперь эту книгу принёс, в доказательство, что я не имею привычки зачитывать, но – сказать вам по правде? – мне ужасно хотелось бы оставить её совсем у себя. Эта книга мне будет теперь всегда напоминать мой арест... и как мне было там хорошо! Послушайте! – с детской улыбкой и увлечением заговорил он, беря меня за руку. – Спросите, пожалуйста, этого вашего знакомого, не согласится ли он на обмен?.. Скажите, я уже выписал себе точно такое издание, но не может ли он оставить мне именно эту книгу?..»

Собственник книги (Михаил Альбертович Кавос) «с величайшим удовольствием», хотя и не без удивления и, конечно, без всякой замены согласился исполнить это «странное» желание Достоевского...»

О последнем же вечере работы с Достоевским корректор Тимофеева рассказывала вот что:

«В конце марта (или начале апреля) 1874 года Фёдор Михайлович сложил с себя наконец тяготившее его редакторство. Сообщая мне это, он не скрыл от меня, что вряд ли я «уживусь» с новым редактором.

Ожидание этих перемен в связи с другими, чисто личными моими невзгодами отражалось, должно быть, у меня на лице. И в самый последний вечер нашей совместной работы Фёдор Михайлович шуточно сказал мне со своей милой, доброй улыбкой:

– Ну, что вы в таком унынии? Или жизнь прожить – не поле перейти?

Я намекнула ему, что у меня впереди – нечто очень тяжёлое.
– И исхода нет?
– Без исхода.
– И кто виноват?
– Преступление и наказание! Ведь, по-вашему, так? – с невольной горечью вырвалось у меня.
– Кто виноват? – снова повторил он, не отвечая.
– Без вины виноватые, – в тон ему ответила я.
– Коварство и любовь виноваты? – подсказал он.
Я молчала; он вопросительно смотрел на меня.
– И эпилог, как у Стебницкого: «Некуда»?
– Что делать!
Фёдор Михайлович рассмеялся.
– Однако, замечаете, – сказал он, – мы с вами говорим всё время заглавиями литературных произведений? Это прелюбопытно! Всё время – одними только заглавиями.

И он опять весело рассмеялся. Смех у него всегда был отрывистый и короткий, но в высшей степени искренний, добродушный. И он очень редко смеялся. На прощанье Фёдор Михайлович выразил желание и надежду снова увидеться и работать вместе. И он так тепло говорил мне об этом, что я невольно ободрилась и, провожая его до лестницы через всю наборную, обещала ему, что, когда мне удастся написать что-нибудь достойное его внимания, я принесу ему на показ, *как учителю...*

Он уже спускался по лестнице – и вдруг, подняв голову, остановился, как бы желая что-то сказать. Но в эту минуту внизу распахнулась дверь, кто-то посторонний стал подниматься по ступеням мимо Фёдора Михайловича, и он успел мне только сказать:

– Ну... до свидания!..»

Была прозрачная, мирная заря.

Яшка, примостившийся на подоконнике, точно изучал высокое стояние облаков. Потом вдруг взвыл, сорвался с места и устремился в полуоткрытую дверь. Это развеселило меня.

Я закрыл ноутбук, потянулся в кресле и запел:

*Жил Мурлыка;
был Мурлыка
кот сибирский,
рост богатырский,
сизая шкурка,
усы как у турка.
Был он бешен,
на краже помешан,
за то и повешен...*

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

День оскудел без солнца.

Задождило. Покупку спиннинга пришлось отложить.

– Ну ничего, вечером приобретём, – сказал Артемий, – когда лить перестанет...

- А ты поедешь со мною?
- В магазин? Ну, поеду... Только запомни: спиннинг выбирай зелёный...
- Ага, хорошо... А почему?
- Видел в одном фильме, что гении выбирают зелёный...
- Понял, сынок, понял, – улыбнулся вдруг я.
- Представляешь, все мальчики хотят быть космонавтами!
- Во как! И ты хочешь?
- Нет. Во-первых, ракет на всех не хватит... А потом, можно ведь и запропасться в космическом пространстве.
- Ты раньше, помнится, говорил про доктора...
- Да. Может, доктором стану... или учёным... Только я не понимаю книжку, которую ты мне купил.
- Но ты ведь сам захотел «Биологию» за 8-й класс.
- И что, мне теперь никогда не понять её, да? – скучился Артемий.
- Жизнь пробует твой характер... Так что терпи...
- Я ведь маленький...
- Маленький, но цопенький.
- Я что – птица, и у меня клюв?
- Нет, конечно, не птица... Но и бой в окружении – не поражение...
- Почитаешь, может, тогда со мной эту книжку?
- Вот это разговор!
- Какой ещё разговор?
- Ну, в смысле – читаю.
- А-а-а, ясно... – выкрикнул сын и кувыркнулся на диване.
- Мужчины, – окликнула нас Марина, – зовите дедушку, мойте руки и – за стол!
- О, да! – повеселел Артемий. – А можно картошечку с котлеткой, как вчера?
- На ужин покушаешь картошечку, ладно?
- А сейчас что?
- А сейчас я овощное рагу с индейкой приготовила...
- Мам, пап, а давайте, когда я совсем поправлюсь, мы приготовим соус! Ну, такой, с помидоркой...
- Кетчуп, что ли? – спросил я.
- О, да!

...Ошалелые столбы тополей бил дождь.

Дорога напоминала плещущую рану.

За окном громко ныла вода. Выбраться из дома было невозможно.

Артемий с дедушкой засели за мультфильмы, жена собралась искупать «этого чёрта бешеного Яшку», ну а я открыл ноутбук...

«Новая глава мне видится «финансовой»... Об отношении Достоевского к деньгам. Пожалуй, это стоит того... Ведь на материальное он смотрел своеобразно».

Незаметно работа заволкла настолько, что и шелест клавиатуры едва слышался...

«Долгие годы Достоевские живут между бедностью и нищетой, но при этом готовы отдать последнее.

«Как ни малы были наши средства, – вспоминала А. Г. Достоевская, – Фёдор Михайлович считал себя не вправе отказать в помощи брату Николаю, пасынку, а в экстренных случаях и другим родным.

– Ну, что папа? Как его здоровье? – спрашивал меня Паша, входя. – Мне необходимо с ним поговорить: до зарезу нужны 40 рублей...

– Сегодня я заложила свою брошь. Вот квитанция, посмотрите!

– Ну что ж, заложите ещё что-нибудь...

<...> Не могу забыть, сколько горя и неприятностей причинил мне этот бесцеремонный человек».

И действительно, Паша Исаев ни с отчимом, ни с женой его особо не церемонился. А ведь им порою приходилось продавать или закладывать вещи, «чтобы достать денег на обед».

Случалось, по словам Марии Стоюниной, и подарки, сделанные Достоевским жене, возвращать в магазин.

«Раз, помню, заработал Достоевский 350 или 500 рублей, побежал тотчас в Гостиный двор, купил у Морозова браслет золотой и подарил Анне Григорьевне. Она мне подробно рассказывала...

– Подумай, – говорит, – у детей обуви, башмаков нет, одежды нет, а он браслеты вздумал дарить!

Он спит в кабинете, она в спальне. Улеглись они спать, а она мучается, что будет делать с браслетом... Наконец не выдерживает моя Анна Григорьевна, идёт в кабинет к мужу.

– Знаешь, я не могу, отдадим его в магазин, ну на что он мне?

Он: «Я мечтал, заработаю там немного и куплю; мне такое счастье, что заработал и могу жене купить!» Он в отчаянии. Она уходит: «Ну хорошо, хорошо!»

Опять не может лежать спокойно, соскакивает с постели и летит к мужу:

– Нет, нельзя, надо отдать, детям нужнее, да и зачем он мне?

Соглашается тут он. Проходит минута-другая. Слышит Анна вздохи, охи, ворочается муж с боку на бок. Вдруг срывается с дивана и – в спальню:

– Нет, Аня, я умоляю, пусть останется у тебя!

<...> И так у них «нежная драма» всю ночь. После, наутро, всё-таки она побежала к Морозову и вернула браслет... здесь её мучение взяло верх, и Достоевский уступил».

А. Г. Достоевская и издательской деятельностью занялась только для того, чтобы уберечь «мужа и детей от той нищеты, которая угрожала им».

«В те времена никто из писателей, – признавалась потом Анна Григорьевна, – не издавал сам своих сочинений... Когда мы сказали нашим друзьям и знакомым, что мы хотим сами издать роман, то слышали много возражений и советов не пускаться в такое незнакомое для нас предприятие, в котором мы, по неопытности, должны были непременно погибнуть... Но отговаривания не повлияли».

Да, не повлияли... «Наступил знаменательный день в нашей жизни, – рассказывала жена Достоевского, – 22 января 1873 года, когда в газете «Голос» появилось наше объявление о выходе в свет романа «Бесы».

Часов в девять явился посланный от книжного магазина М. В. Попова. «Надо с десятка экземпляров...» Я вынесла книги и сказала с некоторым волнением:

– Цена за десять экземпляров – 35 рублей, уступка 20 процентов, с вас 28 рублей.

– Что так мало? А нельзя ли 30 процентов?

– Нельзя..

– Ну хоть 25?

– Право нельзя, – сказала я, в душе сильно беспокоясь: а что если он уйдёт, и я упущу первого покупателя?

– Если нельзя, то получите. – И он подал мне деньги.

Я была так довольна, что даже дала ему 30 копеек на извозчика. Немного спустя пришёл мальчик из книжного магазина для иногородних и купил десять экземпляров.

<...> Около двенадцати часов явился расфранчённый приказчик знакомого Фёдору Михайловичу книгопродавца и объявил, что приехал взять на комиссию двести экземпляров... Но торжество моё было полное, когда вечером к нам приехал книгопродавец Кожанчиков и предложил купить сразу триста экземпляров на векселя на четырёхмесячный срок...

<...> Словом, наша издательская деятельность началась блистательно».

Вообще, Анна Григорьевна оказалась едкой на работу. Трудилась по четырнадцать часов в сутки: стенографировала записи, вела корректуры и переговоры с типографиями. «Она самоотверженно стала слугою Достоевского». Добилась того, что издание романов «Бесы» и «Идиот» дало «хорошую выгоду». Поэтому-то и было решено «каждый год издавать по одному тому сочинений». Всю следующую осень 1874 года она занималась корректурами «Записок из Мёртвого дома», и «к половине декабря книга была уже отпечатана».

Примерно в это же время, а именно 20 декабря 1874 года, Достоевский пишет жене следующее:

<...> Не очень-то нас ценят, Аня. Вчера прочёл в «Гражданине» (может, и ты уже слышала), что Лев Толстой продал свой роман «Анна Каренина» в «Русский вестник»... по пятисот рублей с листа, то есть за 20000.

Мне 250 р. не могли сразу решиться дать, а Льву Толстому 500 заплатили с готовностью! Нет, уж слишком меня низко ценят, оттого что работой живу».

Что это? Зависть?

Нет, это не совсем так. Обратимся к воспоминаниям Всеволода Соловьёва:

«В начале 1875 года Фёдор Михайлович приехал на несколько дней в Петербург и навестил меня... Нам было о чём поговорить, и я чрезвычайно обрадовался его посещению. Но сразу, только что он вошёл, я уже по лицу его увидел, что он до крайности раздражён...

– Скажите мне, скажите прямо – как вы думаете: завидую ли я Льву Толстому? – проговорил он, поздоровавшись со мною и пристально глядя мне в глаза.

Он раздражительно заходил по комнате. Потом вдруг остановился, взял меня за руку и тихо заговорил, почти зашептал:

– И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают!.. Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить... Господи, и всю-то жизнь!.. Вот я недавно прочитывал своего «Идиота», совсем его позабыл, читал как чужое... Там есть отличные главы... Но я всё же таки увидел, как много недоделанного там, спешного...

И всегда ведь так... вперёд заберёшь – отработывай, и опять вперёд... Я не говорю об этом никогда, не признаюсь; но это меня очень мучит. Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделять каждую свою вещь... Вот и завидую... завидую, голубчик!

<...> Он вдруг успокоился и сделался кротким и ласковым. Такие внезапные переходы бывали с ним часто».

И далее Соловьёв говорит:

«Достоевский заранее продавал свой роман, который ожидали с нетерпением. Редакция то и дело понуждала его высылать скорее рукопись. Эти понуждения раздражали его, он волновался, спешил, посылал начало и потом, торопясь продолжением, почти забывал это начало.

По мере развития романа являлась необходимость изменить то то, то другое, но исполнить этого уже не было возможности: то, что нужно было изменить, оказывалось уже напечатанным.

<...> Это было горе, горше которого не может и быть для творца-художника!»

«Больной, измученный, – добавляет при этом Соловьёв, – он уставал всё больше и больше...»

А это уже записная тетрадь Достоевского за 1874 год:

«28 декабря утром, в 8-м часу, в постели припадок из самых сильных. Более всего пострадала голова, кровь выдавилась на лбу чрезвычайно... Смутно, грустно; угрызения и фантастично».

«Начиналось это обычно страшным, нечеловеческим криком... Очень часто я ещё успевала, – признавалась А. Г. Достоевская, – перебежать из своей комнаты через промежуточную, заваленную книгами, к нему и застать его стоящего с искажённым лицом и шатающегося. Я успевала обнять его сзади, и потом он опускался на пол.

Большей частью катастрофа застигала ночью, но бывало это и днём. Он и спал не на постели, а на низеньком широком диване на случай падения. Он ничего не помнил, приходя в себя... жалко и вопросительно произносил:

– Припадок?

– Да, – отвечаю я, – маленький...

После припадка он впадал в сон, но от этого сна его мог пробудить листок бумаги, упавший со стола. Тогда он вскрикивал и начинал говорить слова, которых постигнуть невозможно.

<...> И каждый раз ему казалось, что он умирает».

«4 января 1875 года. Припадок эпилепсии».

«11 января. Припадок эпилепсии».

...Во мне стронулось чувство, и вдруг стало жалко этого разбитого и несчастного человека.

*Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны...*

Низко опустилось заволоченное тучами небо. Оно было не таким, как земля. Я заторопился, распахнул окно – так хотелось глотнуть воздуха.

«Да, это у Достоевского душа колотилась...»

Сумерки нависли, как в предгрозье.

«Пока дождя нет, попробую выбраться из дома».

Покупка спиннинга доставила Артемию радость. Со знанием дела сын выбрал зелёного окраса удочку. Она была и впрямь «отлично хороша». Впрочем, самого меня мало что радовало в этот вечер. И в магазине, и дома был я рассеян, на вопросы отвечал невпопад. Кое-как дождался того момента, когда сын улёгся в постель. Прочитал ему очередную историю о Карлсоне, погасил свет и пошёл к себе. И хотя на пять утра уже был заведён будильник, я снова оказался перед ноутбуком. Рыбалка рыбалкой, но хотелось закончить главу...

«Теперь понятны соображения романиста об экономике, – думал я, настраиваясь на работу, – Татьяна Касаткина всё по полочкам разложила».

«Вот выкладки Т. А. Касаткиной, дающие представление о своеобразном «экономическом мышлении» писателя:

«Выход из экономического кризиса Достоевский видит лишь в «оздоровлении корней», а потому призывает забыть «хоть на одну двадцатую часть» о текущем и «направить наше внимание на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности».

Первое, с чего предлагает начать Достоевский, – духовное оздоровление народа. Главная, мощная сердцевина души народной, утверждает Достоевский, здорова, но болезнь всё же жестока и называется она: «Жажда правды, но неутолённая».

«Я говорю, – пишет Достоевский, – про неустанную жажду в народе русском великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово».

...Луна напоминала детский слёзный рот.

Ночное, немощного цвета небо не подсвечивали звёзды.

Спать оставалось меньше четырёх часов, но сон не давался.

Вспоминалось-изводило одно: «Мы ждали Иисуса Христа, а он мимо прошёл: на всё Его святая воля!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Дождь весь выпал, и взошёл туман.

Присмиривший на ночь «лэнд ровер» воспринял силу заработавшего мотора и двинулся в предрассветную сторону.

Когда выскочили из городского тумана на просёлок, то очутились среди луж с грязной желтоватой водой, в которой догнивали обломки торфа. И так верста за верстой... От немилостивой езды Гулевичей, Опоченина и меня перетряхивало, как червяков в банке.

Разговаривать не хотелось, но пришлось.

– Иван, так где мы Щукаря забираем?

– Рули к дамбе, пап.

– Значит, и его за губу поймали? – сказал Опоченин.

– Поймали за губу? – переспросил Гулевич-младший.

– Ну да, как в книжке.

– В книжке, значит?.. Нет, Жень, – почесал бороду Игорь Алексеевич, – всё было иначе... Лет десять назад наш Щукарь, прозывавшийся тогда исключительно Аввакумом Петровичем Лесовым, спиннинговал на Колдаире. Знато так спиннинговал! Щук натягал с дюжину, не меньше... А эти черти возьми да потяни лодку. Они ведь крупные были, не то что сейчас... Старый Аввакум – ему, кстати, давно за семьдесят – взялся править, щук понукать. Идёт-плывёт. И вот уже на берег сходит... Многие это видели, ну и прозвали Щукарём.

– А меня вовсе не это занимает, – вступил в разговор и я. – Вдумайтесь: зовут старика Аввакумом Петровичем... Как того пустозёрского протопопа, сожжённого заживо. А Лесовой? Ну что за фамилия? Гоголь с Набоковым так и вспоминаются...

– Они-то здесь при чём?

– Как это, Иван, при чём? Набоков утверждал, что фамилии, изобретаемые Гоголем, в сущности, клички... Понимаете, клички? И мы их «нечаянно застаём в тот самый миг, когда они превращаются в фамилии, а всякую метаморфозу так интересно наблюдать».

– Ну а я вам вот что скажу, – усмехнулся Игорь Алексеевич, – Лесовой и впрямь загадочный, как подводное дно... У вас ни поклёвки, а он – с уловом. Всегда... Поверьте, из самой дремучей чащи дорогу сыщет... Вы за ним увяжете, а он возьмёт да пропадёт. И только ветер шумит... А то и вовсе пеньком или деревом обернётся..

– И вы это серьёзно? – вскрикнул Опоченин.

– Старик странный... Он молву реки и леса слушает. Он смерть почувствует. Вникните!

– Это малороссийская байка, что ли? – обострился Опоченин.

– Жень, ну правда, есть странность... Сами потом поймёте.

...Свет солнца был пуст.

Жизнь шла самотёком. По обочинам дорог гноились лужи. Пахло бараном и терпкой кислотной. Сквозь густые вздохи ветра пробивались какие-то взвизги и теньканья.

По верному слову классика, мы были окружены степью, как империей. Вокруг желтело еле колеблющееся пространство, и озеро позади крошечной дамбы казалось случайной мерцающей каплей.

– Быть было ненастью, да дождь помешал, – сказал вдруг как-то с прожёнкой Шукарь и тронул леску.

– Клюёт?

– Да, Иванушка, клюёт.

– А у нас ни черта!

– Кому как, а нам эдак... Счастье-то за вихор не притянешь. – Белёсые ресницы над жёлтыми зрачками старика заколыхались от смеха.

– Вам бы, Аввакум Петрович, всё пустобайки-прибаутки подпускать.

– А вам, мигачи, всех объёмеливать да обсерёживать...

Лесовой помолчал, подумал и уронил:

– Ты вот что, Иванушка, ты не обижайся. Будет вам рыбалка, вы только пересядьте.

– Может, ещё и переобуться?

– Говорю, не обижайся... Щас рыба пойдёт.

– Хорошо бы!

– Ну и хорошо! – ответил тем же старик.

...Ветер лёг в тесноту и темноту трав.

К лицу Ивана прилипла паутина, и только он отёр её, как захлестала рыба «в пыли водяной». Да, Гулевич-младший с Опочениным говорили потом, что разжились рыбой благодаря блесне, сделанной из ложки, но, по-моему, они и сами в это не очень-то верили. Ложка для блесны – материал, конечно, подходящий. И всё же...

– Поворожил ты сегодня, дедушка, – налив вечером виски, сказал Игорь Алексеевич, – спасибо!

– Да и вы, – икнул старый рыбак, – уважили... От радости аж голова вскружилась и дух спёрся.

– Шутите, Аввакум Петрович... Как всегда, шутите...

– Шутить бы чёрту со своим братом.

Старик хлебнул из кружки и разжёгся от собственных слов:

– Я, православные, за то, чтобы не брать у реки, степи, леса лишку... Да и у жизни тоже. Вот кто всем недоволен? Конечно, ненасытный. Ибо самый бедный и вечно страдает от нехватки. Ненасытный пренебрегает благодарностью. Драгоценные слова «слава Богу!» произносить не спешит... Не понимает, что сколько вширь ни богатеи – всё мало будет.

Лесовой пристально оглядел нас и добавил:

– Нужно богатеть вглубь, в Бога... Это и есть самая глубокая вышина... А что внизу? «...У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!» Помяните моё слово... она и спасёт всех.

И тут старик ещё больше разжётся:

– Вы о языке сегодня толковали... Так он же речивый, а не статистый... В нём тридцать три буквы. Радость ли это? Нет, невзгодье. Ведь эти тридцать три лишь изломки прежних сорока девяти. А значит, язык истребили, как и белопрозрачную Русь. Нам изменили точку отсчёта... Год-то нынче 7523-й. Но ведаёт ли кто? Нашей культуре более семи тысяч лет... Кто её изничтожил? Я скажу, скажу... варнаки заморские изничтожили. А ведь мы были с бульжной грудью и необъятной силой. Были хожальными во времени и пространстве. Не верите? А сколько в неделе было дней? Подсказка в самом названии – девять. Зачем у нас отняли два дня? У нас сохранился глагол «сигать», то есть быстро перемещаться. Это я к тому, что в одном дне – шестнадцать часов, в часе – сто сорок четыре части, в части – тысяча двести девяносто шесть долей, в доли – семьдесят два мгновения, в мгновении – семьсот шестьдесят мигнов, ну а в миге – сто шестьдесят сигов... Да, мы жили в этом измерении и поэтому сигали... Эх, всего не переберёшь словами... Вы это... вы ещё приезжайте. Посидим под звёздами. Скоро ведь Земля заживёт под созвездием Лебеда. Для России – это время небывалого расцвета. И вы ещё его застанете.

...Было отчуждённо-прохладно.

Ещё висела мгла, но всё уже ожидало солнца.

Я чувствовал удивление возвращённого детства, точно очутился «на родине в бабушкином чулане». Не знаю, что так повлияло: то ли ночной разговор с Аввакумом, то ли эта присмирившая степь?

Вдруг ковырнуло: «А ведь и верно: «Степей больше, чем домов и людей, однако уже есть о мире и о людях столько выдуманых слов». И ещё. Что же ещё? Э-э, мне же на родину нужно, в детство».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

«Детством и воспоминаниями о себе, чувствами бессмертия и острой реакции и растительной радости художник питается всю свою жизнь, – говорил Андрей Тарковский. – Чем ярче детские воспоминания, тем мощнее творческая потенция», – считал он.

«Тот, кто родился после 44-го, – совершенно иное поколение, – был убеждён режиссёр. – Отличное от военного, голодного, рано узнавшего горе, объединённого потерями безотцовщины, обрушившейся на нас как стихия и оборачивающейся для нас инфантильностью в 20 лет и искажёнными характерами. Наш опыт был разнообразным и резким, как запах наша тыря. Мы рано ощутили разницу между болью и радостью и на всю жизнь запомнили ощущение тошнотворной пустоты в том месте, где совсем недавно помещалась надежда...»

«И «Зеркало» об этом же, – подумал я, дочитав книгу о Тарковском, – особенно «Зеркало». А подредактированные высказывания режиссёра можно отнести и к Достоевскому, и к Ван Гогу... Странно же затеснило мысли,

странно... Ещё вчера, на рыбалке, ничего подобного не было... М-да, разные это творцы, но и очень похожие. Разве нет?»

Ван Гог испытывал потребность возвращаться к той или иной теме «в разнообразных вариантах, пока не исчерпает её». Вот как с детством, например. Ведь образ «колыбельной» настойчиво преследовал художника, он снова и снова работал над ним.

Так же было и с темой смерти.

«Но теперь посреди поля он ставит, – писал Анри Перрюшо, – не сеятеля – образ плодородия и символ надежды, а жнеца – «образ смерти, такой, какой нам её являет великая книга природы», образ, который, по словам Винсента, он хочет сделать безмятежным, почти улыбающимся».

«Улыбающаяся смерть... А что? Вполне в духе голландца».

Ну а Достоевский? Сильнейшее переживание Достоевский получил именно в детстве. А. П. Философова впоследствии вспоминала об одном вечере:

«Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь... Самый ужасный, самый страшный грех – изнасиловать ребёнка. Отнять жизнь – это ужасно, но отнять веру в красоту любви – ещё более страшное преступление...»

Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребёнок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец в пьяном виде изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно.

Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах».

И Философова продолжает: «Этот рассказ я неоднократно слышала от своего дяди и помню, как он был страшно возмущён, когда прочёл печально известное письмо Страхова к Л. Толстому, в котором Страхов приписал преступление Ставрогина самому Достоевскому. Дядя снова вспомнил рассказ Достоевского в салоне Анны Павловны и сказал, что это чудовищная клевета, что этого не могло быть даже и в мыслях Достоевского, ибо мысль ещё грешнее действия!»

«Страхов, – ковырнуло меня, – какой-то «замёрзший среди жизни человек»... Достоевского оговорил... «Получилось умно, двусмысленно, враждебно». Впрочем, Лев Николаевич Страхову не поверил».

...Означились пропадающие предметы.

«Луна, что ли, заработала?»

Тропинка толкнулась куда-то в бок, и я сделал то же самое.

Взглянул на луну.

«Светило одиноких, светило бродяг, бредущих зря...»

Поёжился.

«Холод? Ишь ты, ведьмак какой!»

Споткнулся о пенёк, но не упал – удержали руки-ветви елей. Эти деревья уже успели втереться в знакомство и были дружелюбны.

Сзади вдруг кто-то запел:

*Чок, чок, чок, чок,
Зубы на крючок,
Кто слово скажет,
Тому щелчок...*

Неизвестный икнул и смолк.

«Кто ж это балует?»

Моросило, волновались ели, всё было мокро. Но ещё час назад деревья и травы были сонными и зажмуренными.

На опушке леса тюкал топор.

«Да там, кажется, дом, и на его крыше старик, забивающий доской слуховое окно...»

– Аввакум Петрович! Что это ты делаешь?

– Окно слуховое забиваю!

– Зачем?

– От кометы.

...Меня разбудил стук в дверь.

Артемий втиснулся в комнату и спросил:

– Пап, уже десять... Ты встаёшь?

– Встаю.

– Знаешь, пап, мне сон приснился...

– И?

– Это была комета... Ну, такое тело, состоящее из льда и ещё чего-то... Чего, я не помню. Она взорвалась и грохнулась прям в озеро...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

– Автобус взорвали!

– Где?

– У «Лесобазы».

– Не может быть! – проговорил громко и отдельно какой-то прохожий.

– Да так и есть... Шестеро убитых и чёрт его знает сколько раненых, – сказал другой.

Странными голосами говорили эти двое, как иностранцы. Я не сразу сообразил, что всё это из-за наушников. У одетого в чёрную парку они были как студийные, а у закутанного в яично-жёлтый шарф – самые обыкновенные. Но вот комканая беседа оборвалась. Шарф исчез в подземном переходе. Пара же устремилась к пустому автобусу, впрочем, передумала и втиснулась в переполненную маршрутку.

«Бойтся терактов!» – царапнуло вдруг.

Свет медленно вял.

«Уж сколько людей померло, а смерти никто не считает»... Право, никто».

Падучие звёзды чертили небо и летели вниз. Я остановился на углу Комсомольской и увидел, как с разных сторон к неправильно помеченному огнями «Центробанку» текли два автопотока. С балкона ближайшего дома жилец, куривший сигарету, видел то же самое. Возможно, с крыши дома были видны и площадь Павших Борцов, и железнодорожный вокзал, и мост.

Мимо мелькнул ещё один пустой, тёмный, ослепший, погасивший почти все огни автобус.

Какая-то боль зашевелила сердце, и резко отлилось в памяти: «Вся Россия населена гибнущими и спасающимися людьми...»

Крошил дождь.

Было темно, и только небо порою стискивалось жёлтой судорогой.

Всего несколько часов назад в городе, оглушённом случившимся, объявили высокий уровень террористической опасности. Но ещё утром 21 октября ничто не внушало беспокойства. А потом, потом взрыв... Спустя девять дней после преждевременной смерти от него на том самом месте установили поклонный крест. На чёрном граните высекли имена всех шести жертв террористки-смертницы, подорвавшей автобус.

«На траурный митинг, – не обравнодушились газеты, – собралось очень много молодёжи, что понятно: почти все погибшие, за исключением 29-летней Лены Михайловой, – студенты. Пришли ребята из Волгоградского политехнического колледжа. Погибших среди студентов этого учебного заведения не было, но восемнадцать человек пострадали. В колледже как раз закончились занятия, и многие из студентов сели в тот злополучный автобус».

«Всё, что мы в силах сделать как чиновники – тоже сделаем, – вещал через газеты первый вице-премьер областного правительства Роланд Херианов. – Трагедия нас объединила. И мы будем вместе не только сегодня, но и в последующие годы».

Силовики же застегнулись на все пуговицы и замолчали. А в конце ноября тоже молчком ликвидировали Дмитрия Соколова по кличке Жираф и главаря бандподполья Мурада Касумова. Бородач Касумов, как выяснилось, и приказал длинношеему изготовить бомбу для Волгограда.

А тем временем Киев пытался охоронить свою жизнь. Поначалу требовал подписать соглашение с Евросоюзом, но вскоре вылезлся и запалил покрывки. Свет был бесноват, как в печи. Майдан угрожающе и дерзко оживился. День и ночь слышался нестройный, разорванный гул. Он хватал по оцепевшим нервам. Президент Янукович не бледнел, а как-то даже оливковел. Забота грызла его.

Помню, и у меня были нервы настороже. После теленовостей ночами снились какие-то расправы, слышались голоса...

– ...Веду его: морда интеллигентная – просто глядеть противно. И ещё разговаривает, стервь, а? Разговаривает!

– Ну и что же – довёл?

– Довёл: без пересадки – в Царствие Небесное. Штыком.

Революционно работали и олимпийским факелом.

Сначала одни довели его до Международной космической станции, а потом другие – Олег Котов и Сергей Рязанский – и до самого космоса.

Трудились и правдолюбы.

Эдвард Сноуден, ещё весной обнародовавший немало секретов Агентства национальной безопасности США, делал это и теперь, чем очень злил бывшего работодателя. Да, беседы души с жизнью не получилось. Вашингтон потребовал выдачи паренька, Москва, естественно, отказала.

А вот папа, не отказывавшийся лечиться, всё равно занемог.

В тот день закат махал красной тряпкой, как тореадор. Ничего путного это не предвещало. И действительно, уже ночью моего старика свезли в больницу.

Я стоял возле смотрового кабинета, захолодев внутри. За дверью слышалось единоборство голосов. Наконец волосаторукие хирурги позвали меня и сказали, что будут готовить отца к операции.

Сердце моё глотнуло и забилося.

Потом я долго ждал. Заснул. И видел, причём то с близкого расстояния, а то будто бы из далёкого космоса, колючие тени людей в балаклавах, взорванный автобус и крест. И улавливал, возможно, из самого вселенского эфира информацию о том, что по жилкам нашим течёт «одна общая, буйная, великолепная кровь».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

«Как он?»

«Как всегда, разгерой».

«Он спит?»

«Да, мам, недавно заснул».

«Ты будешь с ним?»

«Хочу дождаться лечащего врача».

«Правильно, дождись и расспроси... Э-э, он один в палате?»

«Нет... Ещё бодрящийся старик».

«Позвони, когда с врачом поговоришь».

«Я позвоню, ты успокойся только... Ладно?»

«Какой же лад, коль душу раздирает?»

«Мам, кажется, обход начался».

«Да-да, я поняла».

Перезвонил маме я лишь после полудня. Колготился то с врачом, то с сиделкой, то с лекарствами, таская за собою собственную тень. Наверное, я смахивал на голотелый стебель тюльпана, замотанный непогодой. Дождь и вправду поклевал меня сегодня изрядно. Поэтому репортаж из хирургического отделения не был продолжительным. Только главное: хотя было всё беспокойно и шатко, но операция прошла более-менее. Санитарка Люба – тихая, маленькая, с осиянным светом в глазах женщина – взялась ухаживать за отцом. Ну а врач, Вера Павловна, разведя складки на переносице, смотрела на меня хмуро, как будто была чем-то недовольна. Говорила как-то странно, выставывая слова. Понял лишь, что на поправление может уйти и полгода, и год.

Когда захворала бабушка, врачи, помнится, так же говорили.

Боль прожигала его, и мне не хотелось рассказывать об этом маме. Впрочем, она и сама всё чувствовала.

Не выколотила жизнь чувства и из Гринёва.

– Вот проводывал Машу... Марью Ивановну... Её это, ну, прооперировали... Ох, как же она несчастна! – аукционист прижался ко мне и затрясся, всхлипывая.

Ноги подламывались в коленях, и Гринёв мог упасть. Пришлось усадить его на кушетку. Не знаю, слышал ли меня Пётр Андреевич? Сомневаюсь. Взирает он пустогазо. Был растерзан и раздавлен, с упавшими нервами.

В предсмерье мы встретились вновь. Гринёв, стариковски сутулясь, шёл в хирургическое отделение. Виделись мы и в последующие дни, но больше не заговаривали. Поздоровавшись, расходились. Потом Марью Ивановну выписали, и аукционист больше не квасил губы при встрече.

...Сухой земли не осталось, вечерние парки и улицы запятнал снег. Вязы отодвинулись от окна больничной палаты. Вдруг стекло прочертило жёлтое пятнышко. Белоголовый старик, лежавший на кровати, ворохнулся.

– Номер шесть, – сказал он.

- ?..
- Палата у нас номер шесть.
- А по-моему, двести тридцать один, – заметил я.
- Ну, верно... Два плюс три да плюс один будет шесть, – улыбнулся словоохотливый старик.
- У вас хорошее настроение?
- Да. Хотя и загородки, и дверцы, и клетки... Всё нарочно для тоски...
- Так это больница!
- Больница? Знаете, я уж погрел землю животом на фронте... И санитарки у нас были. Бойцов вытягивали да выхаживали. Иную девчонку клюнет пуля – и нет девчонки. А теперь что? Операцию сделали, но ухаживать за раненым не будут. Не положено. Вы слышали об этом?
- Слышал, потому-то сиделку отцу и нанял.
- Вот! Мне же врачи ни слова не сказали, прав не огласили... Разве думал я тогда, в Сталинграде, что с меня за обиход потребуют? А нынче – печёнки вон...
- Старик, видимо, поняв, что я не отвечу, продолжал:
- Я не раз заслонялся от смерти только собственной спиной... И что?
- Валентин Андреич, щас капельницу поставлю, – заглянула в палату белозубая медсестра Надя и тотчас исчезла.
- Извините, не представился, – потаённо улыбнулся мне старик. – Я – Ковалюха из Полтавы... Так в 1945-м и начертал на рейхстаге.
- Сколько же вам лет?
- Разрешите доложить коротко и просто: я большой охотник жить лет до девяноста! – подмигнул вдруг Валентин Андреевич. – А вообще-то уже до девяноста пяти...
- «И тоска не согнула, – подумалось мне, – сам как гвоздь...»
- Появилась капельница, и разговор опал, остановился.
- Старик, словно выкричал всё о себе. Взгляд затяжелел, исковерканные брови сломались, рот зарос. Кажется, он испытывал боль и крайнюю беспомощность, отвращение от исходящего смрадного запаха. Я попросил Любу обмыть старика и сменить ему пелёнку. Тихая, маленькая, с осиянным светом в глазах женщина согласилась.
- ...Тишина покинутости стояла в палате, как надгробная плита.
- За окном – глазастая от огней улица, танцы то ли теней, то ли привидений, сугробы, выбеленные дома – ночь.
- Само собою нахлынуло чувство душевной ошупи, когда видишь себя словно постороннего. И рядом будто бы профессор Млечко. Почему он? Наверное, потому что лишь он мог растолковать мне то, что другие порою и не чувствовали вовсе...
- Алёша, здравствуй, дорогой! Поговорим?
- Да, Александр Владимырьч, конечно... Всё хотел спросить вас: отчего культура испытывает отвращение к воню?
- Оттого что сама дурно пахнет... Её дворец, как сказано у Брехта, построен из собачьего дерьма...
- Но как же вышло, что культура потерпела крах?
- Как вышло? – Полюнь в глазах профессора потемнела. – А так: культура не оказывала сопротивления... После Освенцима любая культура – всего лишь мусор... Хм, в своих попытках возродиться после всего того, что произошло, она окончательно превращается в идеологию...
- А что, это вы верно заметили...

– Не я – один немецкий еврей... Так вот, после Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование...

Острые белые зубы медсестры, трещина её неподвижной улыбки. Сталисто отсвечивающая игла. Укол, на время унимающий боль. Отец, бледный и измученный.

Не мысли, но тени мыслей.

И наконец высветлившееся: «Боль – родная сестра жизни».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

– Видите ли, у нас все слова в кавычках. Немцы в какой-то книге по филологии написали исследование языка Третьего рейха. Какой был самый распространённый знак пунктуации при тоталитарном строе? Ответьте.

– Восклицательный, наверное?

– Вот, все отвечают так. А на самом деле – кавычки. «Так называемое». Сейчас есть «так называемая демократия», «так называемый либерализм», «так называемая свобода слова»... Всё «так называемое»...

Битов затянулся ароматной самокруткой, медленно выпустил кольцо дыма и ещё раз сказал: «Так называемое». Вернее, это я мысленно сделал за него. Вспомнил, значит, старого писателя.

«Андрей Георгиевич всё о языке печётся, о том, что не надо его искажать... Ну а подумать, так и не только о языке... Вот Достоевский, первый роман которого Битов хранит, кажется, с детства, – на участии в бытии настаивал. Писатели, пииты – в общем, деятели культуры отнюдь не зрители... Достоевский им в таком праве отказывал. Да, если б не холод и равнодушие большинства, Освенцим был бы невозможен. Его ведь Запад породил, Запад... Все эти буржуа, немецкие, английские, французские...»

...Я внутренне заметался. Приметил будто бы Достоевского, в широком красном галстук (как он любил говорить, цвета масака), только что закончившего «Зимние заметки о летних впечатлениях» и поставившего точку.

«В таком вот виде, возможно, и циркулировал он летом 1862 года за границей... А почему бы и нет? Это уже потом, пожив с Анной Григорьевной, он любил носить «узенькие шёлковые галстучки, прямые... и сам делал бант». Не терпел серого цвета и вообще неопределённых цветов... Хотел, чтобы жена непременно обзавелась ярко-зелёным платьем, а про её серые говорил, что «цвет – как заборы красят». Но что это я всё о платьях да галстуках? Вперёд, вперёд, к «Фельетону за всё лето!» Так, по-моему, романист и называл свои заграничные заметки...»

Вскоре отыскалась глава, написанная мною ещё полгода назад и посвящённая работе Достоевского в журнале «Время». Ведь я изначально выбрал для неё совершенно меня поразивший у Фёдора Михайловича рассказ о «Ваале» – так сам он называл центр мирового капитализма – Лондон. Теперь же, глядя на узкие тропинки слов, я снова, как в тот первый раз, срывался и падал на дно европейской столицы. И там, внизу, были миллионы «всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира...»

«Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся <...> Ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются, как море,

по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и... до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты, за всю неделю. Всё это несёт свои еженедельные экономии, всё заработанное тяжким трудом и проклятием... Всё пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, и всё как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость <...>

В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтоб вы шли с ними. Помню, раз в толпе народа, на улице, я увидел одну девочку, лет шести – не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивающее сквозь лохмотья тело её было в синяках... На неё никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило – она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния... Она всё качала своей включенной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чём-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикуюливая ими, и потом вдруг сплёскивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у неё деньги. <...>

Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место на скамье. Браки между работниками и вообще бедными почти зачастую незаконные, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей ужасно бьют своих жён, уродуют их насмерть и больше всё кочергами, которыми разворачивают в камине уголья. Это у них какой-то уже определённый к битью инструмент. По крайней мере в газетах при описании семейных ссор, увечий и убийств всегда упоминается кочерга. Дети у них, чуть-чуть подросши, зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. <...>

Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убеждён. Вера его в себя безгранична; он презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подаёт организованную милостыню, и затем поколебать его самоуверенность невозможно... Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожит нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим явлениям жить рядом с его жизнью, подле, наяву...»

Достоевский разбежался:

«Западный человек толкует о братстве как великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, даётся, в природе находится. А в природе... западной его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромысления, самоопределения в своём собственном Я...»

Я отпахнул пошире раму окна и уселся на подоконник.

Щепко осмотрелся. Прислушался. Всюду было какое-то степное малолюдство. Щёлкал в саду мороз. Снег уже давно оттрепетал, и там, где он лёг, отливало платиновой сединой. В покинутом свете луны проступали деревья и старая беседка, а вдалеке, в новостройке, – крутые отголоски высоток. Там же была и котельная, рассыпающая из трубы тучи дыма... Мне казалось, что и с души отпадало всё наносное.

И вдруг я прозлился, вспомнил, что садисты Освенцима говорили своим жертвам: «Радуйтесь, завтра вы вознесётесь на небеса дымом из этой трубы».

«Как такое вышло? А вышло от маленького зверушечьего сердца западного человека, лишь толковавшего о братстве».

...Набегала ночь. Я слез с подоконника и затворил окно. Спина болела, как если бы я долго не снимал тяжёлого рюкзака. Некоторое время это не давало уснуть. Снилось же потом, что я куда-то иду и иду. Все дни были одного цвета – жёлтого, как иссушенный, накалённый песок, и ни клочка тени, ни капли воды. И вот однажды, когда измученное работой солнце уже клонилось к урезу земли, появилась девочка лет шести. Вся в лохмотьях, грязная и босая. Она бросилась ко мне, будто к родному. Обняла. И я обнял её. И мелькнуло: «...для полного комплекта, чтобы всё было. Для этого детям, чуть больше, чем животным, чем где спать и что есть, надо, чтобы все были, – всего лишь».

Потом, уже пробудившись, я снова припомнил эти слова Битова, от сердца и без кавычек слова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

«Слова, слова... Как это у классика? «Не так он углублён – не осилит, подлежащее знает, а сказуемое позабыл». Вот-вот, чтобы не позабыть ничего, не расточить душу суетой, возьмусь-ка я за книгу... А что, и потружусь, покорплю...»

Я отставил пустую чайную чашку и открыл ноутбук.

И вдруг вспомнил, как месяц за месяцем писал и переписывал «Времена Достоевского». Так, постепенно обретались форма и содержание этого исследования. Основанное на документах, свидетельствах воспоминателей, письмах, дневниках и публицистике самого Достоевского исследование высветило два десятилетия напряжённой журналистской работы.

«Время», «Эпоха», «Гражданин» и «Дневник писателя», редактируемые Фёдором Михайловичем, неизменно вызывали протесты в передовой русской журналистике, но «находили признание в отдалённых уголках России». Академия наук в конце 1877 года избрала его в члены-корреспонденты по отделению русского языка и словесности...

«А может, книга уже готова... и хватит жечь табак? Нет-нет, нужно ещё... ещё кое-что досказать...»

«Из редакции журнала «Гражданин», – зашелестел я торопливо клавиатурой, – Достоевский ушёл не с пустыми руками, а «вынес одну творческую ценность, которая продолжала служить ему до конца его деятельности». Какую же именно ценность? Леонид Гроссман отвечал так: «Это был новый жанр художественной публицистики – «Дневник писателя» с направленностью на злободневные темы, но с правом автора на вольные импровизации по текущим вопросам общественной жизни, на воспоминания, «на рассказы кстати», очерки, впечатления, иногда и глубокие новеллы психологического и философского характера».

Итак, 1876 год – возобновление «Дневника писателя» отдельным изданием (начинался же в 1873-м в «Гражданине»). В 1877-м «Дневник» выхо-

дил регулярно, помесечно. Потом снова перерыв. В 1880-м печатался только в августе (там знаменитая пушкинская речь, произнесённая 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности). И, наконец, 1881 год. «Дневник писателя» за январь 1881 года, по мысли Достоевиста Татьяны Касаткиной, представляет из себя своего рода политическое завещание Достоевского, до сих пор не прочитанное и, конечно, не исполненное.

Взывает к нам и А. З. Штейнберг:

«Россия и Достоевский, Достоевский и Россия – как вопрос и ответ, как ответ и вопрос. Только с Россией соизмерим Достоевский, только с Достоевским соизмерима она. Понять Достоевского – это то же, что понять Россию; понять её – это то же, что пережить её в творческом умозрении Достоевского».

Вдруг толкнулось во мне:

«Мысли, облачённые в слова... Достоевский, диктуя жене, обычно говорил: «на другой строчке», «разговорно», «не разговорно». Восклицательные и вопросительные знаки Анна Григорьевна ставила ближе к словам так, как он и любил. Очень радовался, когда застенографированное ею с вечера уже к утру было готово к дальнейшей правке... Э-э, если семья поздно ложилась, то Фёдор Михайлович торопил: «Когда же я буду заниматься?» «Теперь 11, два часа мне для приготовления, два на работу, и я проспую не более 7 часов...» Но прежде чем уйти в кабинет, читал детям «Богородицу» и целовал их в лоб или губы...»

Сейчас, в эту самую минуту, мне под руку подвернулась выписка из Гроссмана, весьма характеризующая Фёдора Михайловича:

«Начав летом 1865 года «Преступление и наказание», он в ноябре сжигает всё написанное и приступает к новой разработке замысла. «Идиот» проходит через восемь редакций. Из писем Достоевского к литературным друзьям видно, что за первое полугодие работы над «Бесами» он не переставал рвать и переиначивать, не менее десяти раз переменял план, накопил бесчисленное количество вариантов, в огромной груде исписанной бумаги потерял даже систему для справок и в иные минуты впадал в подлинное отчаяние перед исключительной сложностью задуманного романа.

«Никогда никакая вещь не стоила мне большего труда, – пишет он Н. Н. Страхову 9 октября 1870 года. – ...Боюсь, что не по силам взял тему. Но серьёзно боюсь, мучительно!» И, сообщая своей племяннице, что после долгих месяцев напряжённой работы он «перечеркнул всё написанное (листов до 15, вообще говоря) и принялся вновь с 1-й страницы», он завершает свой творческий мартиролог безнадёжной жалобой, звучащей со страниц его переписки подлинным воплем: «О Сонечка! Если бы вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить эту долю!»

И при этом Достоевский не любил расспросов о своём здоровье, «всегда сердился». Сетовал Анне Григорьевне: «...говорят про меня, что я угрюм и сердит, а они не знают того, что мне дышать нечем, что у меня воздуху не хватает, что я задыхаюсь. Я дышу как бы через платок».

И снова толкнулось:

«Читая записные книжки Анны Григорьевны Достоевской, «как читая следы на снегу, мы обретаем понимание». Да, понимание... Ведь действительно в некоторых обстоятельствах «достаточно распрямить плечи, чтобы лопнуло мешающее тебе платье...» Достоевский же, как и его герои, мог это сделать...»

Как только «понимание» было обретено, я склонился над ноутбуком.

«Почему же мы дрянь? – спрашивал Ф. М. Достоевский и отвечал: – Великого нет ничего». И не образованием, не культурой и наукой, а лишь

«возбуждением высших интересов» можно всё изменить. «Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их в будущее к целям вековечным, радости абсолютной».

«Об идеалах бредят одни фантазёры, – представлял мнение некоторых современников Фёдор Михайлович, – а с грязнотой-то лучше».

И вот мы увидели «все язвы, все миазмы, все нечистоты». Услышали голоса бесов.

Первый предлагал «сомкнуться и завести кучки с единственной целью всеобщего разрушения, под тем предлогом, что как ни лечи, всё не вылечить, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку...»

Другой мечтал о разделении человечества: «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать...»

Третий и вовсе преклонение перед красотой и искусством сочетал с мыслями о «вреде религии», о «беспользости и комичности слова «отечество», о бесплодности русской культуры: «...я их всех, русских мужичков, отдам в обмен за одну Рашель». Да, для этого беса Россия «есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда».

Без сомнения, Достоевский уже тогда прозревал, что эти первые, другие и третьи разделят и срежут миллионы людей. И будет труд. Помните надпись над входом в Освенцим? «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»).

...Был третий час ночи, но меня не гнуло ко сну. Я смотрел в окно на всеобеспечивающую зиму и думал: «В Освенциме убили младших братьев Бандеры... Сам же он служил фашистам. А Украина, обезумев, теперь славит его. Деятели культуры твердят, что икона и лопата из одного дерева и ставят Бандере свечку. Дети играют в Бандеру... Нет, так не должно быть... «Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть!» Нужно отучить...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Закат был жёлт, как померанец. Часть жёлтого бросилась на экран ноутбука.

Я писал быстро, но не ветер подгонял меня, а желание закончить книгу о Достоевском.

Только раз заглянула Марина, и её любяще-тревожный взгляд сказал, что она всё понимает. Возможно, поэтому она и не пустила ко мне переполненного вопросами Артемия. Потом жена с сыном и вовсе куда-то уехали, а я остался, чтобы населять страницы словами.

В плане значилась единственная тема – смерть, смерть Достоевского.

Я следовал плану...

«Биржевая газета» сообщала:

«Утром Достоевскому принесли свёрстанный последний лист январского номера «Дневника писателя», уже прочитанный им в корректуре; требовалось только подписать его для печати. Он не смог этого сделать. Жена его сказала посланному: «Приходите завтра – ему будет лучше, и он подпишет...»

«Мы с мужем, – вспоминала Евгения Рыкачёва, – прочли в газетах, что дядя сильно заболел... Я тотчас порешила, что поеду к ним узнать, в чём дело».

И вот что происходило у Достоевских.

Доктор фон Бретцель через 36 лет после смерти Фёдора Михайловича:

«Вы спрашиваете, чем он был болен? В то время ещё микроб чахотки не был найден, поэтому строгого определения быть не могло... Объективное же исследование не оставляло сомнения, что это был туберкулёзный процесс. В обоих лёгких были значительные разрушения (каверны), и разрыв лёгочной артерии в одну из каверн дал столь сильное кровотечение».

Любовь Достоевская:

«Друзья, родственники собрались в гостиной, ибо весть об опасной болезни Достоевского распространилась уже в городе. Отец попросил их заходить друг за другом и каждому говорил дружеское слово. Силы его на глазах падали с каждым часом».

Анна Григорьевна Достоевская:

«Вдруг безо всякой видимой причины Фёдор Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его лицо. Мы стали давать Фёдору Михайловичу кусочки льда, но кровотечение не прекращалось».

Журналист Болеслав Маркевич:

«Всё замерло мёртвым молчанием. Его дыхание уже вовсе не слышалось. Вошёл священник, шёпотом начал отходную... Доктор нагнулся к нему, прислушался, отстегнул сорочку, пропустил под неё руку – и качнул мне головою. На этот раз всё было действительно кончено... Я вынул часы: они показывали 8 ч. 38 м. (28 января 1881 года). Его не стало».

Три дня у гроба, а потом...

Таких похорон, как у Достоевского, российская столица ещё не знала.

«Погребальная процессия, – вспоминал Александр Круглов, – растянулась на две версты... Целая аллея венков, высоко поднятых, терялась вдали. Это было море зелени».

А вот свидетельства Попова и Гнедича:

«Простой народ с удивлением смотрел на процессию... какая-то старушка спросила Григоровича: «Какого генерала хоронят?» <...> старичок-извозчик, сняв шапку, с недоумением спросил у актёра Петипа: «Кого это хоронят?» Тот отвечал не без гордости: «Каторжника!»

«<...> На Владимирской площади, – рассказывала Екатерина Леткова-Султанова, – произошёл какой-то переполох. Прискакали жандармы, кого-то окружили... Молодёжь сейчас же потушила этот шум и безмолвно отдала арестантские кандалы, которые хотела нести за Достоевским и тем отдать ему долг, как пострадавшему за политические убеждения».

И ещё:

«Это даже мало напоминало похороны – это было какое-то народное празднество...»

«Ход шёл по Невскому проспекту, начался в 10 часов и едва к 4-м добрался до Лавры. И царям таких почестей ещё не оказывали!»

«<...> вся Россия провожала своего писателя и наставника».

А впрочем, не вся...

«<...> Похороны, – говорил, словно разменивался на меньшую монету Страхов, – хотя очень удивили меня, но всё же не так, как многих других...»

«Московские ведомости» ковырнули критика:

«Из всех, кто приходил к вдове Достоевского, чтобы её утешить... лишь один Страхов «не сумел ей ничего сказать».

И всё-таки в те скорбные дни о Достоевском было сказано немало сокровенных, искренних слов.

Домашний врач Я. Б. фон Бретцель вспоминал: «Когда я приехал на одну из панихид, вдова жаловалась:

– У меня отняли моего мужа, я не имею возможности ни на минуту остаться с ним одна, он теперь принадлежит всем, кроме меня».

Да, теперь Достоевский принадлежал всем.

Ещё в 1877 году Н. Н. Бекетов – известный учёный, химик, товарищ юности Достоевского – писал Фёдору Михайловичу:

«<...> пользуюсь правом, данным Вами всякому читателю «Дневника», сказать несколько слов... Чтение Ваших произведений – это беседа с собственной совестью – до того они имеют общечеловеческий, всеобъемлющий смысл.

Прекрасная явилась у Вас мысль – делиться с публикою своим душевным сознанием всего творящегося вокруг нас».

А что же теперь?

Будем и теперь читать его произведения, беседовать с собственной совестью. Ведь когда «наилучшие люди на свете с царской щедростью лгали в глаза», Достоевский задавал вечные, мировые, проклятые вопросы. И он не лгал.

Таковы были времена.

Таков был он».

...Закончена книга, закончена.

Тот день – последний день с Достоевским – прожил в моей душе. Тяжесть опрокинулась на меня...

И придавило-вспомнилось:

«Какой ужас, что человек (вечный филолог) нашёл для этого слово «смерть». Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя – уже определение, уже «что-то знаем». Но ведь мы же об этом ничего не знаем. И, произнося в разговоре «смерть», мы как бы танцуем или спрашиваем: «Сколько часов в миске супа?» Цинизм. Бессмыслица».

«– Смерть – бессмыслица? – спросил я сам себя. – Ну, хорошо, пусть так... Но с чем же существовать человеку?»

И будто бы услышал нервами сказанное... услышал Достоевского...

«– Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле *лишь одна* и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, *лишь из неё одной вытекают*... Идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, её окончательная формула и главный источник истины...

– Это... это же Бог...

– Да-да... Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимы человеку, как и та малая планета, на которой он обитает...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

«Уже в детстве я начал жить как бы сам в себе, сделался задумчивым и всё чего-то искал... Смешно, конечно, но тогда я хотел написать продолже-

ние «Войны и мира». Я ничего не знал об этой великой книге. Так, только название. Нечто космическое слышалось в нём.. Война и мир, война миров.. Но теперь написана другая книга.. Она для папы. Ему посвящается. Поднимет ли это его на ноги? Врач говорит, ничто не поднимет.. Но пусть уж он будет дома, будет со мной...»

Я глянул на часы.

«Девять двадцать три... Вера Павловна просила подъехать за отцом к двенадцати, значит, почитаю пока...»

Открыл «судовой журнал» Гулевича – и меня будто бы окатило набежавшей волной...

«19 сентября 1992 г. Океан – толщу колыхающейся зелёной воды – здорово раскачало. Порт обезлюдел. Ветер бесцеремонно обыскивал суда.

Мы в гостинице маялись.

Иосиф, молчавший всё утро, вдруг сказал: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?..» «Вы чего это, а?» – удивился Красноармейцев. «Это, Толя, не я, – обернулся Иосиф, – это Лебядкин...» «Какой ещё Лебядкин, с сухогруза, что ли?» – растерялся Анатолий. «Нет, Толя, не с сухогруза, – усмехнулся я. Иосиф тоже усмехнулся...»

Нет, не понимаю я нашего капитана: то о Боге вспомнит, а то вдруг: «Мне всё послушно, я же – ничему».

«20 сентября 1992 г. Солнце заголило небо. Тихо, «как в сердце человека в минуту утренней молитвы». Такое чувство, будто сам Лермонтов мне об этом сказал. Я прислушался.. И вновь услышал: «Весело жить в такой земле! Какое отрадное чувство разлито во всех моих жилах! Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка; солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?..»

Это напомнило об Иосифе с его страстями, желаниями и сожалениями. И, как всякое напоминание о нём, это тоже болезненно ударило в душу».

«25 сентября 1992 г. Сегодня капитан сказал, что своя земля и в горсти мила и что хотел бы вернуться домой. Я поддержал его. Потом мы перескочили на литературу. Иосиф заметил, что «Герой нашего времени» свободен от пафоса и стремления вести за собою читателя, обычно присущих позднейшим романам русских классиков. И тем, собственно, только хорош. Конечно, я не согласился со всеми его доводами, но и своими не убедил. Он завёлся, призвал на помощь дух Набокова. Впрочем, я быстро умиротворил капитана. Объяснил, пусть и несколько витиевато, что Набоков, написавший предисловие к американскому изданию «Героя нашего времени», в отличие от Чехова, восхищался вовсе не «Таманью», а «Фаталистом». Иосиф признался, что и он восхищается им».

«27 сентября 1992 г. Капитан зачем-то купил букет белых марипос, аромат которых вскоре разнёсся чуть ли не по всей гостинице. У кока разболелась голова, но Иосифу, кажется, было плевать. «А знаешь, Рауф, ведь «марипоса» переводится как «бабочка», – цеплялся он к коку, – в годы кубинской революции цветок даже стал её символом...»

Молчание татарина злило Иосифа. «Эка, ты распустил губы!.. Или ты, как Гоголь, уважаешь цветы, вырастающие сами собою на могиле?» – «Ну что ты морщишься, Рауф? А я знаю, я всё знаю... Ведь сказано же: «Мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению...»

Впрочем, вскоре Иосиф сжалился над Рауфом, позвал горничную и велел унести цветы».

«4 октября 1992 г. Шум набережной легко бежал к нам по воде. Солнце на небе ярко праздновало. Всюду белые бабочки-паруса: вышли рыбаки за марлином. А мы вышли в порт. Нужно было обговорить с капитаном сухогруза «Дмитрий Лихачёв» то, как доставить «Артистку» в Россию. Со дня на день яхта будет перегнана в Гавану... Да, всё уже решено...»

«16 октября 1992 г. Завтра «Дмитрий Лихачёв» и наша «Артистка» впервые встретятся... Мы прихорашивали её, как невесту...»

«17 октября 1992 г. Весь день сёк тонкий, едкий дождь. Погрузили яхту и вернулись в гостиницу. Иосиф отлучил от себя всю команду и распянтвовался. Однако был смиренным, никого не задира».

«24 октября 1992 г. Купили наконец билеты. Вылетаем через двенадцать дней».

«26 октября 1992 г. Говорили о переходе через Атлантику. Капитан посмеивался: «А помнишь, Игорёк, как ты чуть кита не промухал?» Ещё бы не помнить!.. Паруса закрывали обзор, и я не видел никакого кита. Благо, что Иосиф увидел, подскочил и помог отвернуть штурвал. Кит – мертвящее нервы создание – прошёл рядом.

«Что же ты, вахтенный, а? На кита прёшь, штурвал не крутишь?..» – удивлялся потом капитан. «Рука-то не казённая столько крутить», – пытался успокоиться я. Иосиф же был спокоен. «Для него эти трудности, – мелькнуло тогда, – всё равно что снять шапку с головы... А может быть, голову? Очень может даже быть...»

«27 октября 1992 г. Выбирали подарки домой. Володя Гермаш купил не только самых отборных кубинских сигар, но и чирут – небольшие, обрзанные с двух сторон сигарки. Кок Рауф, хотя и говорил, что в кулак свищет, но тоже истратил уйму денег на сигары. Толя Красноармейцев выторговал себе рыбацкий амулет и радовался ему как ребёнок. Юра Колосков купил какого-то диковинного масла для массажа и, похрустывая пальцами, словно уже собираясь сделать этот самый массаж, сказал: «В общем, чтоб девушку побаловать...» Меня же интересовали местные лекарства, и я вскор отыскал то, что могло помочь маме от ревматизма. Ну а Иосиф... Иосиф отправился к портному, чтобы снять мерку».

«3 ноября 1992 г. Кажется, Иосиф был доволен портным, а портной – Иосифом. Одет наш капитан был теперь безупречно, как человек, не только не стеснённый в средствах, но и умевший заставить вещи говорить. Вечером он нырнул в бар, где оглушил себя таким количеством рома, которого хватило бы и на троих. Мы опасались, что он не оклемается до вылета... Нет, оклемался».

«4 ноября 1992 г. 10 часов утра, прошли таможенный контроль, сдали багаж. Ожидаем посадки. Неужели всё, неужели домой? Шесть месяцев вдруг переломились, я прошептал...

*И в жёлтом колыбельном свете
У мироздания на краю
Я по единственной примете
Родную землю узнаю».*

...Отец выглядел каким-то разбродным и живоглазым. Две глубокие морщины вырезались у самого рта. Он был в жизни, а не вне её. Да, он был.

И мы возвращались домой.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Зима топтала город, замораживала закат.

Задувал свежак, трепля дым по крутым крышам. Не прекращалась пальба метели на улицах и во дворах. Густолюдые. Многочисленные тени, колеблясь, перебегали от дома к дому.

Снег полосовал окрестности. Коммунальщики, чертыхаясь, едва поспевали отгрести его к обочинам. Вздрагивали огни проносащихся мимо автомобилей. Звонок Гулевича поймал меня по дороге с работы.

- Приветствую, Алексей Николаич!
- И я вас, Игорь Алексеич!
- Вы – домой?
- Да, пора на земляничную поляну.
- А не хотите посмотреть выставку Ван Гога?
- А где?
- В музее Машкова.
- Так я же здесь, недалеко.
- Ну, вот и давайте встретимся около шести. Вникли?
- Да, я подъеду.

...Пока ждал Гулевича, мысленно расчёсывал в пух и прах пресс-конференцию Графа. Сегодня мой министр собрал газетчиков и, так сказать, «в порядке бреда» ответил на заранее подготовленные вопросы. С ними Граф чувствовал себя уже не «вашим сиятельством», а «вашим величеством».

«Стыдно за таких журналистов... Вот поэтому-то и нужна «организация газет нового типа – газет, где не было бы написано ни единого слова».

Я поправил зеркало заднего вида.

«Ещё Достоевский возмущался убеждениями западного журналиста... «Моё убеждение – и кончено», – ответит он вам, ни дать ни взять как ответят вам некоторые из наших современных журналистов. Понимаете, он гарантирован: ему есть что вам отвечать, чтоб зажать вам рот. Свобода совести и убеждений есть первая и главная свобода в мире...» Да, слова в кавычках... так называемая «первая и главная свобода». Ничего не изменилось, ничего...»

Увидел в зеркале машину Гулевича.

Было минут семь седьмого, когда мы вошли в музей. Сдали в гардероб куртки, купили билеты.

- Алексей Николаич, как ваш папа?
- Позавчера из больницы забрал...
- Может, что-то нужно... Ну, лекарства или...
- Нет-нет, спасибо... ничего не нужно.
- Вы не стесняйтесь.
- Да, я понял, но действительно ничего не нужно.

Пока мы беседовали, подошёл экскурсовод с шейным платком цвета изумрудных полынных полей. Глаза, пронзительные, голубые и добродушные, уставились на нас.

«Такие толстяки, как этот, – трепыхнулась мысль, – пожалуй, нравятся женщинам...»

– Уважаемые, – сказал отдышливо экскурсовод, – Вы можете присоединиться к группе... Мы только что начали знакомиться с творчеством Ван Гога...

Взяв под локоть даму с янтарной брошью, толстяк продолжал:

– Пришедший в импрессионизм последним, Ван Гог оказался у истоков нового зарождавшегося стиля. «Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я, – говорил Винсент, – использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя...» Итак, уважаемые, художник понял, что для изображения самой сути необходима связь рисунка и цвета. Синтез этих двух составляющих живописи стал одной из важнейших особенностей стиля великого голландца...

– Качались цветы и жили стрекозы, – шепнул я Гулевичу, указывая взглядом на девушек, всё более впечатлявшихся словами экскурсовода.

Игорь Алексеевич улыбнулся:

– Любимые Сократом стрекозы, которые, по словам Ван Гога, всё ещё поют на древнегреческом.

Когда мы немного отстали от группы, мой друг сказал:

– Я уже прочитал «Времена Достоевского». И могу утверждать, что исследование это заслуживает внимания. Да-да, попали в нерв. Но вы же хотели показать взаимосвязь между смертью Достоевского и арестом народолюбца Баранникова. Может, я ошибаюсь?

– Да, Игорь Алексеич, такая мысль была. В своё время Виктор Шкловский высказал предположение, что смерть Достоевского так или иначе связана с арестом члена Исполнительного комитета «Народной воли» Александра Ивановича Баранникова. Впрочем, никаких серьёзных доказательств, как писал позднее Волгин, представлено не было: версия не получила признания и даже не обсуждалась в литературе.

– Версия?

– Вот именно. Игорь Волгин, кстати, и выделил потом самые существенные факты. Если коротко, то вот они... В ночь с воскресенья на понедельник – с 25 на 26 января 1881 года, – когда у Достоевского случилось первое кровотечение, в квартире номер одиннадцать, расположенной на одной лестничной клетке с квартирой номер десять, где обитал романист, был произведён обыск и оставлена полицейская засада.

– Засада в квартире Баранникова?

– Вы правы. Так вот, Волгина интересовали три вопроса. Был ли Достоевский знаком с Баранниковым? Знал ли о том, что происходит у соседа? Имел ли какую-нибудь прикосновенность к событиям этой ночи?

– И ни на один вопрос не ответил?

– Да, бесспорных документальных данных не нашёл. А значит, привлекательная версия о том, что Достоевский знал Баранникова и как-то помогал ему, например, хранил у себя запрещённую литературу или даже динамит, несостоятельна.

– Алексей Николаич, а вы сами допускаете мысль, что Достоевский мог сочувствовать народолюбцам?

– Нет, определённо не допускаю. По свидетельству Суворина, Алёша Карамазов готовился в цареубийцы. Но согласитесь, что идея художника и идея террориста не тождественны. Один чувствовал, что Россия «колебалась над бездной», и собирался писать об этом, другой же – намеренно обрекал её на гибель. Вот поэтому я и отказался в моей книге от версии, выдвинутой Шкловским и разработанной Волгиным...

Группа была уже в полной власти экскурсовода, и мы, подойдя, это почувствовали:

– Из всех произведений парижского периода большой интерес представляет серия из шести работ, изображающих старые изношенные ботинки, подбитые гвоздями. «Ботинки» поражают своей внутренней экспрессией и в то же время простодушной искренностью и открытостью миру... Ван Гог, уважаемые, не выстраивает здесь сложную композицию, а просто показывает пару поношенной обуви, в которой отражена философия человеческой жизни... То есть я хочу сказать, что для достижения своей цели человеку нужно совершить невероятно трудный путь. Так, посредством только одного совершенно заурядного предмета мы невольно представляем себе эту долгую и тяжёлую дорогу. Колорит картины выстроен на сопоставлении тёмно-голубого, красно-коричневого и чёрного цветов. Повторюсь, несмотря на кажущуюся простоту сюжета, Ван Гог создал удивительно гармоничное полотно...

– А скажите, любезный Павел Евгеньич, – скосоротилась в улыбку дама с жёлтой брошью, – Ван Гога охотно раскупали?

– Вы неверно ставите вопрос, Нина Михайловна, – насупился и опал экскурсовод. – Что значит раскупали? Он же вам не картофель...

– Простите, Павел Евгеньич, я ступевалась. – Лицо дамы с брошью выразительно жаловалось.

– Ну будет вам, будет...

– Да-да, я сейчас успокоюсь.

– Э-э, в общем так... В конце 1889-го Ван Гога пригласили участвовать в брюссельской выставке «Группа двадцати», на которой ранее экспонировались работы Моне, Писсарро, Сёра, Синьяка, Лотрека и Гогена. Картины мастера сразу заинтересовали художников и любителей живописи... Вот тогда-то, Нина Михайловна, у него за четыреста франков и купили «Красные виноградники». Это была первая и последняя работа, проданная при его жизни...

– А почему он так и не написал портрет брата, которому был всем обязан? – нахмурился Гулевич.

– О, это невероятно... Но среди произведений Винсента действительно нет ни одного портрета Тео. И почему так вышло, я, увы, не знаю... С портретами вообще всё очень странно... Только гораздо позже, как рассказывала Аделина Раву Максимилиану Готье: «Я заметила... что в юной девушке, какой я тогда была, он угадал женщину, которой я стала потом...» Аналогичный случай произошёл и с другой моделью Ван Гога – доктором Реем. С годами доктор Рей становился всё более похож на свой портрет. Доктор, который не понимал, а, видимо, боялся художественного дара Ван Гога, в дальнейшем избавился от картины...

Экскурсоводу аплодировали. Он поклонился и неспешно удалился, мы тоже засобирались. Игорь Алексеевич сказал, что Иван заканчивает расследование и что нужно бы встретиться до Нового года.

«Нужно – значит, встретимся...»

Ветер подгонял меня, как брошенный флаер. Я сел в машину и завёл двигатель. Потрогал объезженные щетиной щёки.

«А вот теперь на земляничную поляну...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

«Зелёный веронез и голубой кобальт, по-моему, не очень подходящие цвета для астероида...»

Я разглядывал Касталию, подаренную Графу Спасским, а министр разглядывал меня.

– Безруков, вы уклонились вчера от разговора...

– Не понимаю, Пётр Петрович?

– Ну как же, я спросил вас о моей пресс-конференции, но вы промолчали.

– А что говорить, там были отборные борзописцы...

– Вот вы всегда так, Безруков.

– Не понимаю?

– Всё вы понимаете, но ведёте себя бесцеремонно... Ну да ладно, я вот по какому поводу позвал... Нужно поправить некоторые цифры в вашем отчёте. Только поскорее, завтра он уже уйдёт в Москву...

– Нет, править нельзя.

– И там не должны видеть того-этого... пессимизм... Постойте, я не ослышался, вы отказываетесь?

Нечего было церемониться с Графом, и я словно вонзил булавку.

– Да, отказываюсь.

– Потрудитесь-ка объяснить.

– Хорошо, потружусь. Если там, в Москве, не увидят этот, как вы выразились, пессимизм, то мы не получим на ремонт памятников необходимых средств.

– Алексей Николаич, вы забываетесь!

– Нет, я ничего не забыл. Мой прадед, как и тысячи других прадедов, погиб под Сталинградом. Поэтому я не могу править объективные цифры...

– Смешной вы человек, Безруков... Думаете, я это так оставлю? – плотно улыбнулся Граф. – И не надейтесь..

Он полностью выразил то, что бродило в нём.

Я старался не злиться, старался удержать себя в себе, но как-то так вышло, что, вставая из-за стола, я ненароком зацепил Касталию, и та с земной лёгкостью разбилась на множество мелких осколков.

«А ведь Спасский, собака, – ударило вдруг, – врал о космическом происхождении этой безделки...»

Вечер загорюнился.

Город начал прозябать от ветра и отсутствия солнца.

Мне же было хорошо, как воробью, искупавшемуся в песке.

«И почему хорошо, ведь после сегодняшнего разговора должно быть плохо? Может, потому, что не только Граф на меня влияет, но и я на него? Да, в этом-то всё и дело... Ведь «всё как океан, всё течёт и соприкасается; в одном месте тронешь – в другом конце мира отдаётся». И «попробуйте разделить, попробуйте определить, где кончается ваша личность и начинается другая...» Пусть Граф «потерял нитку» и «сорвался с корней», но не от всего же лучшего в себе он отказался?»

Я вскинулся от телефонного звонка: Гулевич просил срочно встретиться.

...Игорь Алексеевич уже был у Ивана, когда я пришёл. Кабинет-сейф, насколько я запомнил его в последнее наше посещение с Опочениным, не изменился. Впрочем, нет, портрет Путина был теперь не справа, а слева от стола. Как только я снял куртку, Гулевич-младший вскочил и заговорил:

– Повесился наш аукционист.

Я тоже вскочил.

– Да, на шнурках от собственных ботинок.

– Ботинок? Но когда?

- Два часа назад, Алексей Николаич.
- Это действительно самоубийство?
- Никаких сомнений: криминалист подтвердил.

Игорь Алексеевич посмотрел на меня, как в витрину магазина, и сказал:
– Эти ботинки Гринёв купил только вчера. Видимо, хотел произвести впечатление на Марию Ивановну... Из предсмертной записки следует, что бывшая жена возвращаться отказалась и что у неё есть другой. Вот, собственно, и всё.

Иван кивнул, как бы подтверждая.

Внутри у меня что-то скомкалось, отлетело.

- Алексей Николаич, вы вникли?
- А?.. Я просто не постигаю, зачем он так... Знаете, я же виделся с ним недавно в больнице... Он приходил к жене, проводывал. Наверное, на что-то надеялся...

Минуту или две мы помолчали, потом я спросил:

- Как же теперь следствие?
- Следствие закончено, – сказал Иван.
- Вы знаете, кто убийца?
- Не только знаю, но уже и арестовал его.
- Можете не гадать, – ослабил узел галстука Игорь Алексеевич, – это Рауф Ахмеров.

– Рауф? Не Тахир? Вы уверены?

– Я тоже считал, что убийца молодой Ахмеров. С другой стороны, нельзя не признать, что все улики против него были косвенные и что новые факты могли опровергнуть наши доводы. Вникли? Так вот, Иван получил эти факты...

– Да, я сейчас изложу... Все злодеяния имеют, как говорится, большое фамильное сходство... Понимаете, в 1989-м и 1990-м в Набережных Челнах были совершены заказные убийства, почерком очень схожие с нашими... Следствие считало, что за расстрелом коммерсантов стоит «Нуровская бригада». Многих нуровских тогда арестовали, но только не киллера. Никто из бандитов не знал его, кроме главаря Кролькова, но Кролькова вскоре самого убили, и ниточка оборвалась... Я стал исключать явно невозможные предположения и наконец получил истинное. Рассуждал так: Рауф Ахмеров уехал из Набережных Челнов как раз в 1990-м. В Волгограде появился примерно в это же время, познакомился с братьями Иосифян. Мушег взял его на работу в своё заведение, да и с Самвелом, выступавшим за спортклуб «Динамо», он тоже быстро нашёл общий язык. Оказывается, Рауф боксировал когда-то в полутяжелом весе. И только Иосиф сторонился татарина. Не знаю почему, но потом Рауф оказался с ним в экспедиции. Видимо, в их отношениях что-то переменялось... Итак, сопоставив все факты, я предположил, что Рауф – это тот самый киллер, которого сначала разыскивали следователи Татарии, а потом и мы. Обыск окончательно всё подтвердил. В его квартире были найдены перчатки со следами пороха и патроны к пистолету «ТТ».

- Значит, молодой Ахмеров ни при чём?
- Теперь мы это точно знаем... Как, собственно, и то, что камеры видеонаблюдения аукционного дома всё-таки зафиксировали момент убийства.
- Иван, а ведь Голомазов утверждал, что отключил все видеокамеры...
- Сергей Голомазов подстраховался и записал всё, что произошло в тот роковой день...
- А запись, он отдал вам запись?
- Сразу, как только мы взяли киллера.

– Важно и то, – кашлянул Гулевич, – что завершается расследование махинаций с торгами. Почти все фигуранты этого дела арестованы и дают показания.

– Кроме Прицыкиной?

– Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив... Ивану к Ирине Сергевне пока не подобраться... Вникните!

– Ну а кто же Рауфу заказал Подобедова?

– Не только Подобедова, но и Ягужинского, – поправил меня Игорь Алексеевич.

– Рауф Ахмеров, – заметил Иван, – сознался пока лишь в убийствах директора аукционного дома Подобедова, коммерсанта Ягужинского и случайного свидетеля... этого старика-дворника... Думаю, что заказчиками убийств были Мушег и Самвел Иосифян. Именно эти двое через подставных лиц активно играли на торгах, и Подобедов им всячески способствовал. Конечно, он многое знал и тем был опасен. Ягужинский же, как конкурент, и вовсе путал Иосифянам карты. Согласитесь, достаточные мотивы для убийства. Кроме того, аудиозапись, которой располагает следствие, доказывает причастность братьев к аналогичному преступлению...

– Вы говорите об аудиозаписи, сделанной Иосифом?

– Да, конечно... Ведь он определённо высказывается о том, что взял на себя вину братьев и что к убийству кредиторов не причастен. Мы провели экспертизу – запись подлинная...

– И что вы теперь намерены делать?

– Что делать? Во-первых, дождаться результатов обысков у Мушега и Самвела Иосифянов. Во-вторых, дожать Рауфа. Возможно, что кредиторов братьев Иосифянов в своё время устранил тоже он.

– Кстати, Алексей Николаич, вашего министра Иван повесткой вызвал, – расправил плечи Гулевич.

– Как это? – вскричал я от неожиданности.

– Да, мне поручено расследовать, куда ушли деньги для праздничных фейерверков... Вот я и вызвал Графа к себе.

– И когда вы его вызвали?

– Сегодня... А допрос, допрос завтра, в 10 часов.

Всё усмехнулось во мне.

– А я вечером столкнулся на выходе из министерства с заместителем Графа, Спасским Максимом Аркадьевичем. Как он изменился! Да-да, стал, словно маленькая ручная собачка, потерявшая хозяина...

Ночь прокалывали огни.

Я открыл глаза, силясь понять, что же меня разбудило. И вдруг понял. Это был визг. В этом страшном визге – боль, ненависть, звериная тоска обманутого мужа, забитость, перемогание сплетен и насмешек, одиночество. Таким я увидел во сне несчастного самоубийцу Петра Гринёва.

Стал молиться о спасении его души.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Сороковой день во всех волгоградских храмах молились о невинно убиенных в терактах.

Сначала горожане были как покинутые дома. Но потом в них затеплился свет: тридцать четыре погибших соединили живых с живыми. Цветы несли

к железнодорожному вокзалу и к остановке пятнадцатого троллейбуса – несли туда, где всё и произошло.

И в начале февраля люди с привитым навыком, не целясь попадать в цель, добрались-таки до нежитей. Были уничтожены все организаторы волгоградских терактов. А ещё через месяц директор ФСБ Александр Бортников сообщил о том, что и «террорист № 1» Доку Умаров больше не числится среди живых.

Бомбисты боялись выоркнуть.

Олимпийский огонь, вернувшийся из космоса, спокойно горел в Сочи. Как ни тарантили ногами на Западе, но это не помешало нашей национальной сборной взять столько наград, сколько она и заслуживала. «Жаркие. Зимние. Наши», – радуясь, повторял теперь и стар и млад. Россией гордились. Гордились и те, кто любил её, и те, кто рассуждал о любви к ней в духе момента.

Возможно, у многих и возникло тогда предчувствие, не способное истощиться мыслью. С появлением в Крыму «вежливых людей» оно только окрепло. Потом была принята декларация о независимости Республики Крым и Севастополя, проведён референдум, а воля крымчан и севастопольцев признана Россией. И вот 21 марта 2014 года Владимиром Путиным было наконец узаконено то, к чему стремились и о чём мечтали многие: Крым и Севастополь воссоединились с Родиной.

На Западе громче затарантили ногами.

А у нас надели футболки с изображением ракетных комплексов «Искандер». «Санкции? Не смешите мои «Искандеры» – было начертано на этих весёлых футболках.

История совершилась.

Люди не отступили перед труднейшей задачей – задачей нести бремя жизни, «иго нашей человечности».

События этой весны совпали с движением их сердец.

Пришла весна и в Волгоград.

Талой городской ночью неизвестные сожгли алый «кайен» господина Пушкарука. Впрочем, утешением Вячеславу Михайловичу стало то, что на следующий день после утраты дорогой машины Цеповяз назначил его председателем регионального правительства.

Но не всем удача служила как рабыня.

Политтехнолог Сажин, благополучно отсиживавшийся последние четыре месяца в кресле директора Волгоградского медиа-холдинга, вдруг был уволен. Цеповяз посчитал, что аресты Павла Большова и других высокопоставленных чиновников, скандал с аукционным домом и резонансные убийства освещались газетами медиа-холдинга не так, как следует. При этом даже себе губернатор не объяснил бы, что именно было не так. Да и зачем, собственно? Ирина Сергеевна Прицыкина – «наш закон» – уже решила насчёт Сажина всё.

Я только теперь окончательно понял, почему Гулевич об этой красивой женщине говорил, что «горда, ломлива, своенравна и ревнива».

То ли дело Таня, наша милая Таня...

В апреле, на Пасху, она родила дочь. Девочку назвали Юлианой. Гулевич стал дедом, а я крёстным.

Да, это была счастливая весна.

Сад мой засвежел светом, земляничная поляна у старой беседки первой освободилась от снега. Под острым зрением солнца вода на пруду в куски

прошла жухлый лёд. И я уже мечтал, как мы сходим туда с папой половить линей.

*Я одну политбеседу
Повторял:
– Не унывай!*

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

– Мам, папа умер...
– Папа...
– Тебя плохо слышно, алло!
– Это слёзы мешают, сынок... Ведь боль выскребла из него жизнь...
«Да, выскребла. Знаешь, я во сне увидел ель, опалённую молнией: жёлтые иглы...»

Телефон едва не выпал из рук.

Я закричал, словно это меня опалило. Я снова увидел отца... Но он уже не чувствовал сердечной нужды, он умирал. Лицо его медленно темнело, как будто он заходил в тень...

- Ты поплачь, сынок, поплачь...
- Иглы были жёлтые...
- Да-да, жёлтые, понимаю.
- Я сказал о папе только тебе...
- Марина с Тёмушкой ничего не знают?
- Пока не знают, я скажу им утром.
- Скоро уже четыре...
- Да, я скажу им.
- А ей, ей ты скажешь?
- Мама, я не могу её видеть.
- Нет, послушай, ты должен сказать его жене.
- Хорошо, я сделаю, как ты просишь...
- Да, я прошу, иначе не по-людски.

...Гулевич с Женей Опочениным занялись похоронами.

Алёша Посошков, не дозвонившись до меня, передал через Славу Черешина, что выехал из Питера.

В доме, должно быть, пахло свечами и ладаном, но я не замечал. Приходили и уходили люди: родственники, друзья, соседи – и всё запечатлевалось каким-то промельком. Священник, читающий псалтырь; заплаканная мама, Марина, Артемий; земля, падающая на крышку гроба – и тоже промельком. И вдруг, уже ночью, осознание, чёткое осознание того, что покинутость и долгая тоска будут теперь встречать меня, а отец не будет.

Не знаю, почему, но он представился мне ребёнком с яблоком и стрекозой в руках. Он смотрел, как бумажный кораблик плывёт по реке.

И тут прожгло...

*А где стрекоза? Улетела. А где
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.*

...Ночь оскалилась месяцем.

Корабль обморочно дребезжал такелажем – чёрный, в огнях берег уходил вдаль.

Прадед мой, расставив ножницами ноги, крутил штурвал и говорил с моим отцом и моим дедом. Я вглядывался в их трудные лица и не мог разобрать ни слова. И всё же уловил: толковали о пупяной тверди, о не пропавшем даром хлебном семени, о давно отшедших старцах и о том, что «ни народится, заговорит о них».

Ночь расплзлась.

Корабль неслышно вошёл в утренний туман, который то раскатывало, то скручивало, то загоняло в какую-то дрёму...

Я открыл глаза, не понимая, сон это был или не сон.

Потом заметил пропущенный вызов и набрал номер Гулевича.

– Здравствуйте, Игорь Алексеич! Вы звонили...

– Приветствую, Алексей Николаич! Да, звонил, хотел узнать, как вы...

– Ничего, нормально... Отец приснился... Знаете, он столько тягостей изжил, а болезнь не сумел...

– Вот что, давайте приезжайте ко мне... Выпьем, помянем его... Вникли?

– Да, хорошо.

– В общем, подъезжайте... А пока вот вам информация к размышлению: сегодня президент отправил Цеповяза в отставку...

– Я немею перед законом... Неужели Цеповяз утратил доверие?

– Ну, официально он сам попросился...

– Ага, теперь, как вы говорите, я вник.

...Небо просинело.

Весна была моему городу к лицу.

Я завёл двигатель, и вдруг выяснилась любимая поговорка моего друга: «Вскочив в седло, надо взмахнуть плетью, а не сползать на землю».

«Вот и взмахнём плетью ещё раз...»



**Валерий
ШАМРАТОВ**

РАЗНОСТОРОННИЙ ТАЛАНТ

(О творчестве
Натальи Ивановны Шиндиной)



*Наталья Ивановна
Шиндина*

Наталья Шиндина родилась в городе Балаково Саратовской области. Рисует с раннего детства. Первая персональная выставка работ Натальи Ивановны Шиндиной с большим успехом прошла в Балаково в 2004 году, где художница выставила 200 своих работ – 60 живописных работ (холст, масло), 60 акварелей и 80 работ, выполненных методом компьютерной графики на фотобумаге формата А3. Выставки её работ проходили также в Татарстане (Казань) и Молдавии (Рыбница).

Наталья Ивановна Шиндина способна удивить кого угодно. И дело даже не только в её многочисленных станковых полотнах, выполненных с тонким лиризмом. Полной неожиданностью для зрителя могут явиться её графические работы на библейские темы, выполненные акварелью в символистской манере.

И уж совсем неожиданным будет название её нынешнего места работы: Саратовская средняя школа № 11 – не лицей, не гимназия, а именно обычная средняя школа. Думаю, не ошибусь, если скажу: во всей Российской Федерации не найдётся второй средней школы, где работала бы художница такого уровня. И если вы решили, что она препода-

ёт рисование, то не угадали: она учитель-логопед (профессия на стыке лингвистики и медицины).

По фотографии ей можно дать лет 25 или чуть больше (фотография современная). На самом деле у неё только трудовой стаж больше 25 лет. Взрослый сын (программист, окончил университет, проходит срочную службу в армии – кстати, служит по специальности, хоть и простым солдатом). А Наталья Ивановна работает, как уже было сказано, учителем-логопедом в детском саду при школе. А заодно ведёт там кружок рисования. А ещё основала в детском саду кукольный театр...

Наталья Шиндина – дипломированный художник-оформитель (в одном из кафе Балаково реализован её дизайн-проект), дипломированный учитель-логопед и дипломированный психолог. И, наконец, главное: Наталья Ивановна активно занимается наукой. И не просто готовится к защите диссертации на соискание учёной степени: в её активе несколько десятков научных публикаций. Для соискателя кандидатской степени невероятно много. Последняя по времени выхода её научная публикация состоялась в апреле 2017 года в научно-методическом электронном журнале «Концепт» (*Шиндина Н. И. Особенности инновационного развития в современном обществе: социологический аспект // Научно-методический электронный журнал «Концепт».* – 2017. – № 4 (апрель). – С. 107–111. – URL: [http://e-koncept.ru/2017/170088.htm.](http://e-koncept.ru/2017/170088.htm))

Те, кому это интересно, могут сами прочесть. Но должен предупредить: ни журнал, ни статья Шиндиной не относятся к разряду научно-популярных. Для непрофессионалов будет непонятно.

Как я уже сказал, Шиндина способна удивить кого угодно. Так вот напоследок: она ещё и стихи пишет! И не как-нибудь, а хорошо. В школе с давних пор существует литературное объединение школьников. Школьники время от времени публикуются в разных изданиях, участвуют в конкурсах... Один из дистанционных конкурсов – международный конкурс «Издание» (Москва, март 2017) – решил в качестве представителей старшей возрастной группы участников допустить и учителей. Помимо большой группы школьников в конкурсе приняли участие и четыре учителя, в том числе Н. И. Шиндина. И все вошли в призёры конкурса и получили публикацию в итоговом электронном сборнике конкурса «Издание».



**Владимир
АЛИФАНОВ**

ЗАВЕТНОМУ ЗВУКУ ВНИМАЯ...



Леонид Сметанников

На концерте Леонида Сметанникова

23 марта 2017 года в Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова в рамках VIII Всероссийского фестиваля народно-инструментального искусства «На родине Паницкого» состоялся сольный концерт народного артиста СССР, лауреата Государственной премии им. М. И. Глинки, профессора, заведующего кафедрой академического пения СГК Леонида Анатольевича Сметанникова. Концерт проходил в сопровождении оркестра русских народных инструментов под управлением

-
- Владимир Ильич Алифанов родился в 1942 году в г. Сальск Ростовской области. Окончил Сталинградский нефтяной техникум, филологический факультет СГУ. Служил в армии. Работал инженером отдела оборудования на Невинномысском азотно-туковом заводе, учителем русского языка и литературы в школе, в Приволжском книжном издательстве, где прошёл путь от выпускающего до заведующего книжной редакцией, корреспондентом районной и многотиражной газет, городской газеты «Саратовская Мэрия», главным редактором областной газеты «Коммунист – век XX–XXI». Печатался в федеральных и региональных газетах, в журналах: «Литературное обозрение», «У книжной полки», «Встреча», «Клуб и художественная самодеятельность», «Народное творчество», «Волга–XXI век». Лауреат премии Губернатора Саратовской области в сфере журналистики, дипломант Всероссийского конкурса журналистских работ о творческой деятельности Саратовского академического театра оперы и балета.

заслуженного артиста России, профессора Виктора Егорова и был посвящён 110-летию со дня рождения И. Я. Паницкого и 40-летию педагогической деятельности Л. А. Сметанникова.

– Саратовская консерватория, без преувеличения, – это место, овеянное легендами, это символ Саратова, – сказала ведущая концерта, музыковед Елена Пономарёва во вступительном слове. – В консерватории учились и состоялись как певцы народные артисты СССР Галина Ковалёва, Юрий Попов, Леонид Сметанников. Здесь словно витает дух великих талантов – Л. В. Собинова, С. Н. Кнушевицкого, И. Я. Паницкого.

Сегодня Саратов, Саратовская область и Леонид Сметанников неотделимы друг от друга. В год столетия Саратовской консерватории Леонид Анатольевич был награждён медалью «За вклад в развитие образования», его имя вошло в энциклопедию «Лучшие люди России» – за значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса, в деле интеллектуального и нравственного развития личности.

Открыл концерт оркестр русских народных инструментов, который блистательно исполнил «Пляску скоморохов» П. И. Чайковского – из музыки к весенней сказке А. Н. Островского «Снегурочка».

Такое начало следует признать удачным, потому что прозвучала музыка, проникнутая радостным, весенним настроением, ожиданием чуда, которое вскоре и явил слушателям наш прославленный певец.

Ведущая напомнила публике, что на кафедру академического пения в качестве преподавателя Л. А. Сметанникова пригласили ровно 40 лет назад, в 1977 году. В 1989 году он был утверждён в звании профессора, а уже через два года, в 1991-м, его избрали заведующим кафедрой. Он сменил на этом посту своего учителя – заслуженного деятеля искусств России, профессора А. И. Быстрова.

Приглашение на сцену прославленного певца вызвало бурю эмоций, публика просто «неистовствовала», предвкушая появление своего кумира.

И вот ведущая объявила:

– Пётр Ильич Чайковский. Четыре романса.

Певец открыл свою программу знаменитым романсом на стихи Алексея Толстого «Средь шумного бала», а затем спел тоже очень известный романс «Растворил я окно» на стихи Великого князя Константина Романова, который критика причисляет к шедеврам вокальной лирики.

Впечатляюще исполнил оркестр две музыкальные пьесы Валерия Гаврилина – «Осенью» и «Марш-галоп» из балета «Провинциальный бенефис». Солистка – лауреат Международных конкурсов Татьяна Нечаева.

Оба произведения замечательные, но особенно поразила меня пьеса «Осенью», проникнутая какой-то светлой печалью, щемящей грустью. Хотелось слушать её бесконечно...

И вновь на сцене – Леонид Сметанников, который проникновенно исполнил три оперных шедевра из своего богатого репертуара: романс Демона из одноимённой оперы А. Г. Рубинштейна, каватину

Алеко из одноимённой оперы С. В. Рахманинова и арию Петруччио из оперы В. Я. Шебалина «Укрощение строптивой».

В завершение первого отделения концерта прозвучали две знаменитые песни Г. В. Свиридова: «Русская песня» и «Маритана», которые маэстро спел просто превосходно.

После антракта вечер был продолжен оркестром русских народных инструментов, исполнившим русскую народную песню «У зари-то, у зореньки» в обработке Веры Городовской. В этой песне было всё: и русская ширь, и русская удаль, и русская грустинка...

Замечательно выступил гость – лауреат международных и региональных конкурсов, баянист из Сорочинска (Оренбургская область) Алексей Черных. Он виртуозно исполнил одну из лучших пьес И. Я. Паницкого «Полянка».

Предваряя выступление Л. А. Сметанникова во втором отделении концерта, ведущая обратила внимание на то, что заведующий кафедрой академического СГК Л. А. Сметанников в своей педагогической деятельности выходит за рамки интересов своей кафедры и с большим успехом проводит мастер-классы в консерваториях Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска и других городов России, а также за рубежом: в Германии, Австралии, США...

Ведущая напомнила, что в 1993 году профессор Саратовской консерватории А. И. Демченко написал книгу о певце – «Дарить людям радость». Этот труд помогает приобщать молодое поколение к художественному и эстетическому наследию России.

– Вся педагогическая деятельность профессора Леонида Анатольевича Сметанникова, – заключила свою речь ведущая концерта, – направлена на пропаганду русской культуры, на воспитание современного певца. Леонид Анатольевич подготовил 25 певцов. Среди них – преподаватели, доценты, заслуженные работники культуры, заслуженные артисты России, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов: Алексей Волжанин, Галина Королёва и Александр Лукашевич (Москва), Алексей Кулигин (Санкт-Петербург), Николай Резников (Ижевск), Александр Самсонов (Чебоксары), Александр Горовой, Оксана Колчина, Вера Панышина, Владимир Ушаков (Саратов).

Сразу же после «речи» неутомимый Леонид Анатольевич исполнил романс А. Шишкина «Нет, не тебя так пылко я люблю...» И тут к маэстро подошла небольшая группа из пяти человек. Присмотревшись, я узнал в них представителей клуба почитателей таланта Л. А. Сметанникова во главе с председателем В. В. Крестовым, который решительно взял в руки микрофон:

– Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, несравненный Леонид Анатольевич! Позвольте от души поздравить вас с замечательным событием – сорокалетием вашей неутомимой педагогической деятельности. Вы щедро дарите студентам свои знания, свой опыт. И вы, мне кажется, учите их не только вокальному мастерству, но и актёрскому искусству. Скоро ваши студенты разъедутся по разным городам нашей страны, и мы уверены, что где бы они ни работали, они с достоинством будут представлять наш музыкальный, театральный город Саратов, нашу Саратовскую государственную консерваторию

и, конечно же, своего учителя – народного артиста СССР Леонида Анатольевича Сметанникова. Желаем вам, дорогой Леонид Анатольевич, счастья, здоровья, дальнейших успехов на сцене и в педагогической деятельности.

Член клуба Галина Валентиновна Маркова прочла стихотворение о маэстро, в котором прозвучали такие строки:

*Певец от Бога, баловень фортуны,
Чей голос и чарует, и звенит,
Будя души божественные струны, –
Сметанников, бесценный Леонид...*

Далее в концерте прозвучали: популярный романс Б. Фомина «Только раз бывает в жизни встреча», солист – Леонид Сметанников, фантазия Веры Городовской «Русская зима» в исполнении оркестра русских народных инструментов, дирижёр – В. И. Егоров; знаменитая песня П. П. Булахова «Тройка» в талантливом исполнении выпускника 2017 года, ученика Л. А. Сметанникова, лауреата Всероссийского конкурса Беджи Калмыкова, и популярная русская народная песня «Эх, Настасья!», которую мастерски спел сам маэстро.

По сложившейся многолетней традиции завершил свой концерт Л. А. Сметанников исполнением русской народной песни «Выйду на улицу». Маэстро эмоционально, так ярко исполнил её, что публика долго рукоплескала и без конца выкрикивала эти сладкие для артиста слова: «Браво!» и «Бис!» Пришлось певцу откликнуться на этот эмоциональный взрыв публики и исполнить ещё один шлягер из его репертуара – русскую народную песню «Вдоль по Питерской», которую публика вновь приняла восторженно.

Леонид Анатольевич терпеливо переждал горячие, долгие аплодисменты, поблагодарил собравшихся за высокую оценку его творчества, за цветы (как говорится, цветов благодарная публика не жалеет), за тёплые, сердечные поздравления.

– Я очень надеюсь, – сказал маэстро, – что мы будем встречаться и впредь. Желаю всем счастья, мира, добра, прекрасного настроения, творчества. А самое главное – здоровья вам, детям, внукам, правнукам и праправнукам на вечные времена. Приходите к нам в консерваторию. Это лучший зал Саратова, самый красивый, самый нарядный. Поэтому ждём вас здесь всегда. Мы вас любим! До новых встреч...



Ярослав КАУРОВ

«Роман в стихах»

Галина Таланова. «Бег по краю». — М.: Издательство АСТ, 2017. — 416 с. — Серия «Лучшие романы о любви».

Галина Таланова — автор семи книг стихов и трёх романов, родилась и живёт в Нижнем Новгороде, работает в НПО «Диагностические системы». Член Союза писателей России. Автор более 100 публикаций в периодической печати, лауреат многих литературных премий, в том числе премии «Болдинская осень» (2012), журнала «Север» (2012), премии им. М. Горького (Нижний Новгород, 2016), лауреат международного конкурса им. де Ришелье (Греция, 2016) за романы «Голубой океан» и «Бег по краю», золотой лауреат международного конкурса им. Её Величество книга!» (Германия, 2016) и золотой дипломант VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2016) за книгу стихов «Сквозь снега, наметённые в вёснах», дипломант конкурса им. О. Бешенковской (Германия, 2015), Международного литературного конкурса им. Мацуо Басё (2016), конкурса «Лучшие поэты и писатели России» (2013) в номинации «Поэзия», ежегодной российской литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2016).

Творчество Галины Талановой — пример того, как интеллигентный, ненавязчивый, талантливый автор, несмотря на все трудности, созданные в современной литературе, может достучаться до сердец читателей.

Проза Талановой далека от приключенческой. Это глубокий, почти научный анализ тонких психологических нюансов трудной и трагической судьбы человека. Это мир бликов, солнечных зайчиков, теней, ночного мрака, рождающего ощущение чьего-то присутствия в полной пустоте. Её проза — проза поэта: очень своеобразная, сильная, написанная изящным, ажурным языком поэтических метафор, где сквозь тонкий узор эмоций проступают глубокая философия и осознание неумолимости бега времени.

Конечно, в произведениях Галины ясно ощущается учёный. Это видно по целостности и логике построения романа как дома. Но по игре света в окнах веранды, по свежему ветерку, врывающемуся в распахнутые двери, по картинам, развешанным на стенах, ты узнаёшь, что это дом поэта. Уместно в этой связи привести цитаты из романа.

Почувствуйте, как дрожат *«негнущиеся пальцы, ставшие похожими на какие-то узловатые корнеплоды, выдернутые из грядки»*.

Войдите на кладбище *«на фоне трёх мачт-крестов от затонувших кораблей»*.

Оцените такую фразу, написанную о молодых девушках, подыскивающих себе женихов и постоянно ошибающихся в своём выборе: *«...они тут же цепляли следующего, старательно развешивая паутину распахнутых глаз, нежащихся в тени своих ресниц и лениво стреляющих в проходящего мимо аккуратно сложенными галками взглядов; рассыпая осколки залиvistого смеха, напоминающего звонок притормаживающего трамвая; маня, словно готовые сорваться с места косули, своими длинными ногами...»* Трудно даже сосчитать, сколько здесь новых авторских сравнений, находок, дышащих свежестью весеннего утра юности, создающих настроение полёта.

И вместе с тем слышатся невесомые нотки прозрачного, как слюда, юмора.

Проза Галины Талановой напоминает стихи, но стихи, не обрубленные навязчивой рифмой, не выстроенные в вымуштрованные шеренги строф. Галина Таланова стирает и без того невидимую грань между прозой и стихами — в этом её единственность, узнаваемость и неповторимость.

Как можно стихами написать целый роман, да не один, остаётся загадкой таланта самобытного автора. Именно таких загадок и ждёт современная литература,

измученная пустозвонными нескончаемыми детективами, слащавыми бульварными романами и историями про благородных воров и верных, чистых куртизанок.

Когда-то нас раздражала советская цензура, мы в своей наивности и не думали, что рабство зависимости от толстосумов

гораздо вернее ведёт таланты к безвестности, а расчётливых подёнщиков дурновкусия – к медийности. Какое счастье, что в такой тяжёлой обстановке всё-таки пробиваются к нам авторы, чьи произведения несут отпечаток глубокой, насыщенной индивидуальности.

Михаил МУЛЛИН

Стихи о несбывшемся и сбывшемся

Владимир Шабаев. «В тени дубрав». – Саратов, 2016.

Когда оцениваешь книгу казака, особенно если автор её хоть как-то обозначил свою принадлежность к сословию, возникает соблазн написать, что издание отличается выраженным патриотизмом. Но сообщить это по сути означает ничего не сказать: эка невидаль – казак-патриот! Ну, не в либералы же ему податься! Во всяком случае, из всех вспомнившихся мне казаков лишь двое стали таковыми: Андрий Бульба да философ Бердяев. Причём последний – либерал относительный.

Поэтому поищем в новом сборнике поэта Владимира Шабаева и другие достоинства.

В предисловии к сборнику, в частности, отмечено, что стихи в нём «сдержанные по цветовому колориту, без броских словесных одежек...»

Книга, однако, не очень простая. Уже в самом названии сборника имеется подвох для простачков, настроившихся на необременительное для ума, неаналитическое чтение. Называется книга «В тени дубрав», но это отнюдь (как оказалось) не воспевание блаженно-созерцательного ничегонеделания. Вопреки создавшемуся было настрою, ориентирующему на ожидание восторженных описаний «простых радостей жизни на лоне природы» (то ли пейзаж, то ли, наоборот, утончённо-изнеженных аристократов), уже в первом сти-

хотворении говорится, что в этой самой «благодатной тени» поэт тоскует (!) о... степном просторе. А отсюда вывод: тень эта отнюдь не желанна, а жизнь-то была, может быть, неплохой, но нелёгкой, так как произошла в ней подмена, подобная когда-то раскрытой тонким лириком и психологом Виктором Боковым: «Отыми соловья от зарослей, / От родного ручья с родником – / И искусство покажется замыслом, / Неоконченным черновиком. / Будет песня тогда соловьиная / Точно долька луны половинная...» И это настораживает, перенастраивает на драматический лад: вот и Владимир Шабаев исполнил свой долг гражданина, патриота, поэта, но, увы, будучи оторванным от родной и, несомненно, горячо любимой степи...

Несомненно, потому что вот о ней (степи) ностальгические воспоминания: «Далеко-далёко, за лиманами / В синей дымке тают облака. / Даль чиста, и беркут над курганами / Виден хорошо издадека». Потому что «бредит сердце ласкою и нежностью» (редкое и неожиданное для казака, которому по стереотипу, упомянутому в первом абзаце, полагается быть «суровым», признание, но куда деться, если чувства эти переполняют?!). При этом стихи Шабаева передают не только картину (то есть они

уже заведомо **художественны**), но и запах родной степи: «Грядным духом и эфирной свежестью / Пахнет богородская трава».

Принципиально важно, что это не чисто эстетическое любование величием и совершенством природы, и для автора не отвлечённо-абстрактное понятие степи. «Степь да степь, отава на лугу» – об этом ещё можно сказать, что, мол, ожидаемо и, стало быть, общо, но следующая строка: «Край Донской, души моей отрада» – уже значительно уточняет объект любви. Дальше же: «Я тебя представить не могу / Без тенистых улиц Зернограда» – полное подтверждение любви именно к своей малой родине. Тем более что на этом «оптическое приближение» и «наведение поэтической резкости» не заканчивается – и город, и хутор «Весёлый» оказываются не «геометрическим местом точек», не географией, а биографией, так как состоят из «знакомых и друзей» поэта и «цветущих яблонь». И снова строки **пахнут** – «хлебом и простором».

По прочтении книги у меня сразу же сложился образ её автора, словно бы нечаянно созданный им самим – стихами. Причём настолько, что тут же возник вроде бы несерьёзный экспромт. Я назвал это стихотвореньице скромно, почти как Маяковский: «Владимир Ильич Шабаетов», присовокупив, впрочем, к заголовку уточнение: «казак, офицер, поэт».

*Приравнял перо он к... шашке.
Как казак – калач он тёртый.
Но родился не в рубашке –
Он родился в гимнастёрке!
А на ней, глядишь: вместе
Проступают иногда
Православный русский крестик
И Геройская Звезда!*

А позднее понял, что в этой доброй шутке есть та самая поговорочная доля... Да ведь автор книги такой и есть! Казак в сборнике присутствует безусловно. Офицер? Тоже. И поэт есть. И православное отношение к жизни. И готовность стать героем (когда страна быть прикажет героем) очевидна. Трагедия же в стихах Шабаетова элемент романтизма. Чем-то гриновским и (одновременно) есенинским щиплет сердце при чтении стихотворения «**Я не был дома восемнадцать лет**». Гриновская тоска о несбывшемся (из «Бегущей по волнам») и есенинская нежность, замешанная на чувстве утраты: «Калиткой стукну – только мне в ответ / Мой верный пёс, как прежде, не залает». И почти до слёз хочется поэту (а за ним и в унисон чувствующему читателю) вернуть назад прошлое «Как погорельцу, что пришёл

взглянуть / На пепелище и тихонько плачет». Да ведь, положи руку на сердце, кто же из русских не чувствовал себя хоть иногда (а то и неоднократно) пришедшим на пепелище?!

Приведём, пожалуй, одно из стихотворений целиком и чуть-чуть проанализируем его.

*За окнами метель метёт,
Крадётся в полумраке кот.
Десятый час, и ночь, смелея,
Шуршит и смотрит из углов.
Гусыней вытянула шею
Большая стрелка у часов.*

*Возня мышинная в углу.
Кот затаился на полу.
Он – царь зверей в моей квартире.
Опасность им грозит бедой,
А мыши заняты едой:
Беспечность правит в этом мире.*

*И с грустью я осознаю:
Жизнь на мышиную возню
Похожа в частности и в целом;
Смерть обмануть – напрасный труд.
Часы размеренно идут,
Метёт метель на свете белом...*

Если пренебречь некоторой неловкостью первых двух строк (по коим можно предположить, что и кот крадётся **за окном** же), то придётся признать произведение очень удачным. В нём **живая** ночь в десятом часу смелеет, шуршит и смотрит из углов, а стрелка часов вполне мистически, по-гусиному вытягивает шею. Но картина – картиной, а тут ещё и мудрое замечание: «Беспечность правит в этом мире», и грустное понимание автора, что во многом жизнь похожа на мышиную возню, и осознание, что смерть каждого (и самого поэта) неизбежна. А ещё – лиризм.

И пусть не вводит читателя в заблуждение похожесть последней строчки на всем известное «Мело, мело по всей земле...» – не пастернаковский здесь настрой, а опять-таки гриновский: при вполне удавшейся жизни **несбывшееся** обязательно когда-нибудь настигнет нас. Но ведь это же и говорит как раз о настоящей, живой душе, жаждущей, в принципе, **недостижимого** совершенства!

В этом стихотворении (как и во многих других) мало весёлого. Но тогда почему же не возникает чувства безысходности? Парадокс объясним: сама жажда совершенства в жизни как раз и является жизнью полноценной и не напрасной. Это у развитых, душевно одарённых натур и у людей с философским складом восприятия бытия.

Тема вынужденной вырванности (но не оторванности!) из родной почвы и «боли пересаженности» звучит и в стихотворениях «Ель», «Липа у плетня **благодаря**» (отметим, кстати, как мил тут «плетень», редко встречающийся у современных урбанизированных поэтов, и пять раз в двух строчках повторяющийся звук «л», создающий дополнительный лепет листьев этой липы и, возможно, подсознательно намекающий на любовь). Впрочем, в стихотворении «Ель» подняты и экологические проблемы. И ощущается сострадание одиночеству. Поскольку она (ель) «стоит, над парком возвышаясь, / И не жива, и не мертва».

А природу поэт чувствует и умеет показать её именно живой. Замечательно, например, что родник у него «...словно сотканный из света, / Толчками (здесь и далее выделено мною. – М. М.) шёл из-под камней». Толчками – как будто бьётся пульс! И вода в нём «кипела ледяная, / Как чай на медленном огне». А вот и полное торжество автора – лирического героя: «И пил я, губы обжигая, / Нектар с богами **наравне...**» Так вот почему даже несбывшееся не приводит к унынию и чувству безысходности! Спасение, оказывается, в единстве с этой **живой** природой.

Да и желание жить у поэта заразительно: «Чтобы кровь, словно брага, **взыгра-ла** / И по жилам огнём потекла!»

Ощущение «единой крови», единства с родиной приводит к очищению: «А в душе ни тоски, ни печали, / **Словно смыло их вешней водой**» – хорошая, однако, «перекличка» с «Идёт-гудёт **зелёный шум!**»

А как великолепен татарник в одноимённом стихотворении Шабаяева!

*Хранит колючее обличье
От травоядных, жадных ртов,
Как символ царского величия,
Пурпурный шёлк его цветов.*

И в подтверждение этому: «Кружат над ним весь день, всё лето, / Как слуги, осы и шмели».

На слова Владимира Шабаяева нет песен. И это, думается, пока. Потому что «**Мы на море ходим на закате**» – очень даже поётся. Может получиться романс,

скажем, вроде бунинского «Я – **простая девка на баштане**», только без мотива смерти, хотя и со щемящими сердце приметами уходящей юности.

Но, конечно, в сборнике много «казачьих» стихов. В них точность конкретных (всегда не случайных!) деталей современности связана с историческим взглядом. Тема эта присутствует и там, где нет прямых на неё указаний. Трагедия казаки в стихотворении «Мария» заканчивается объяснением и... надеждой: «И о нас, позабывших о Боге, / **Различая беду впереди, / Матерь Божья томится в тревоге, / Прижимая Младенца к груди**». Прекрасен образ и любимой автором «**Бабушки Феоны**», отмолившей внука.

Именно в «словных» стихах любовь к малой родине свидетельствует о нежной и жертвенной любви к Родине большой – России, к Отечеству!

Автор деятелен и ценит дело, если оно непустое. Традиционно труд для казака – радость. А для Шабаяева – и поэзия. И радость. И смысл пребывания на земле настоящего патриота.

*Под июльским раскалённым небом
Даже курам шевельнуться лень,
Но идут, идут машины с хлебом
Ночь и день.*

Прочтя такое, с гордостью думаешь: это всё-таки гимн труду – никакие «перестройки», видимо, нас уже не отучат **любить** работу. Да ведь нас и не приучали. В том наша суть!

Нежность казака не может не обратиться на себя сначала несколько удивлённого внимания. И казачья любовь во всех её нравственных проявлениях трогательна. Однако если бы автор книги и не был казаком, эти два главных чувства в сборнике всё равно были бы замечены читателем и с благодарностью оценены. Ведь и присутствие гриновской составляющей в стихах (чего, может быть, сам автор вовсе и не добивался и о её наличии даже не подозревал) объясняется той же большой любовью и нежностью. И если уж есть эта благородная и романтическая ностальгия по несбывшемуся, то что же тогда, согласно сборнику, сбилось? А сбилось и жизнь, и судьба, и... книга.



**Владимир
ЕФИМОВ**

НЕУЛОВИМЫЙ АВТОР НЕУЛОВИМЫХ «КРАСНЫХ ДЬЯВОЛЯТ»

Осенью 2016 года, работая над книгой о своём троюродном деде – известном революционере-большевике Василии Фроловиче Ефимове (Саратовце), я позволил себе сделать смелое предположение о большой доле его вероятного знакомства и работы в партийной организации Баку со своим земляком и будущим писателем Павлом Бляхиным – автором первого отечественного вестерна «Красные дьяволята». Произошло это во время его второго приезда в Баку в 1908 году после московских баррикад, вооружённого восстания как части первой русской революции.

Павел Бляхин родился 130 лет назад, 11 (25 декабря) 1886 года, в Петровском уезде Саратовской губернии в семье чернорабочего. Правда, в автобиографической повести Бляхин называет своей родиной село Быковы Саратовской губернии, а биографы – село Верходым Петровского уезда Саратовской губернии, нынешнего Шемышейского района Пензенской области. Некоторые источники называют это село Верхозим и относят его к нынешнему Кузнецкому району Пензенской области. Но, думаю, независимо от сегодняшней административной принадлежности малой родины Бляхина, неоспорим один чрезвычайно важный факт: будущий писатель родился в тогдашнем Петровском уезде.

Наиболее вероятно, что встречи Бляхина и Саратовца могли произойти в библиотеке Союза нефтепромышленников Баку. Этой официальной библиотекой и, как позже

-
- Владимир Ефимов окончил филологический факультет Саратовского педагогического института. Работал корреспондентом многих саратовских газет. Собственный корреспондент федеральных еженедельников в Нижнем Поволжье и Республике Беларусь. Печатался в «Советском спорте», «Советской России», еженедельниках «Экономическая и философская газета», «Патриот» и др., сотрудничал с радиостанцией «Юность» и детской редакцией Всесоюзного радио.

отмечали участники тех событий, фактически явочной квартирой для местных революционеров заведовала жена Ефимова – Лидия Николаевна Бархатова, уроженка города Нязепетровска Челябинской области, ставшая после Великого Октября видным деятелем библиотечного дела Советского Союза, ещё в 1913 году участвовавшая в создании в Москве детской библиотеки для рабочих Пресни.

В ту достаточно скромно «экипированную» художественной литературой бакинскую библиотеку часто навещал смыслённый и охочий до чтения книг юноша Паша Бляхин. Лидия Николаевна быстро заметила его любовь к чтению и предлагала пареньку серьёзные повести и романы.

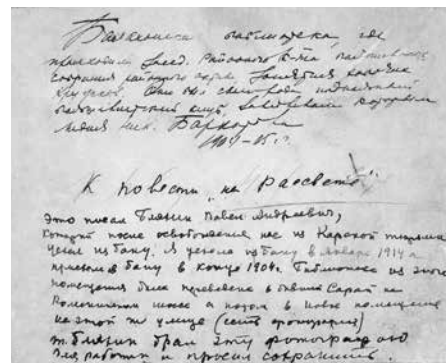
Спустя годы Павел Андреевич воздаст должное своей наставнице в одной из автобиографических повестей: *«Душой нелегального клуба была Лидия Николаевна Бархатова, которую полиция выслала из Петербурга как неблагонадёжную. Выбор литературы был небольшой, но она (...) снабжала своих читателей рассказами М. Горького и такими книжками, как «Овод» и «Спартак». Эти книги будили революционную мысль рабочего, звали к борьбе за свободу. «Вот человек», – говорил о ней Алёша Джапаридзе...»*

Павел Бляхин прибыл в Баку в 1904 году. Ему, прилично поднатревшему в Астрахани в выполнении партийных, подчас крайне опасных поручений, в Баку стали доверять более серьёзные задания, и – самое главное – он приобрёл политическую зрелость. Одной из его наставниц стала Лидия Бархатова. И не только как храбрый политический боец, но и как мудрый учитель, лоцман в мире художественной литературы, она помогала юноше идти правильным курсом в безбрежном море книг. Можно с уверенностью сказать, что именно Бархатова привила Павлу любовь к литературному творчеству, и он в будущем, пройдя школу революционной борьбы, в том числе и на московских баррикадах 1905 года, развил себя как писатель.

Уже после Великой Отечественной войны Бляхин приступил к созданию автобиографической трилогии. Первая её часть, «На рассвете», посвящалась астраханскому и бакинскому периодам его жизни. Многие известные люди изображены на её страницах. В том числе и Бархатова. Именно ей, своей литературной наставнице, Павел Андреевич отправил старую фотографию бакинской библиотеки, в память о прошлом, всё более отдаляющемся времени.

Работая над своей трилогией, Бляхин общался с Лидией Николаевной. На обратной стороне фото он собственноручно написал: *«Балаханская библиотека, где происходили засед (ания) районного комитета большевиков, собрания районного актива, занятия рабочих кружков. Это был своего рода... большевистский клуб, заведовала которым Лидия Ник (олаевна) Бархатова. 1904–05 гг.»*

Чуть ниже рукою Бархатовой сделана приписка: *«К повести «На рассвете». Это писал Бляхин Павел Андреевич, который после освобождения нас из Карской тюрьмы уехал из Баку. Я уехала из Баку в январе 1914-го, а приехала в Баку в конце 1904 г. Библиотека из этого помещения была переведена в бывший сафай на Романинском шоссе, а потом в новое помещение на этой же улице (есть фотография. – В. Е.). Т (ов). Бляхин брал эту фотографию... и обещал вернуть»*.



Поскольку обе эти фотографии оказались в архиве Бархатовой, можно считать достоверным фактом, что писатель впоследствии выполнил своё обещание.

Лидия Николаевна пережила своего соратника и ученика на пять лет и оставила после себя архив, часть которого мне пришлось с волнением рассматривать в музее её родного города. В том числе и тот снимок библиотеки, впервые публикуемый и потому уникальный, с надписями, сделанными Бляхиным и Бархатовой.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПОВЕСТИ...

Накануне 130-летия со дня рождения Павла Андреевича я предлагаю глазами юного Бляхина посмотреть на социальную и политическую обстановку, которая окружала его в Баку – третьем по величине в России после Санкт-Петербурга и Москвы промышленном регионе. Всем заинтересовавшимся советую взять в библиотеке его трилогию «Дни мятежные».

«Пригородный поезд на Балаханы был до отказа переполнен рабочими и крестьянами – жителями окрестных посёлков и деревень. Мы с трудом протискались в вагон и оказались прижатыми к окну между скамьями. Так и стояли всю дорогу.

Грохот поезда, толкотня и галдёж пассажиров не очень-то располагали к разговору.

Но мне не терпелось узнать что-нибудь о Балаханах и о рабочих-нефтяниках. Ванечка (Иван Фиолетов – впоследствии один из членов Бакинского комитета РСДРП, один из «26 бакинских комиссаров», расстрелянных в 1918 году. – В. Е.) отвечал скупо. Я узнал только, что Балаханы, Сабунчи, Сураханы и Романы представляют собой, в сущности, один гигантский нефтеносный район.

– Да вот приедем, и ты всё увидишь своими глазами, – говорил Ванечка, глядя в окно, мимо которого мелькали телеграфные столбы и тянулась голая серая земля, покрытая чёрными пятнами. Невысокие холмы волнами спускались к морю.

– А как живут и работают нефтяники? – продолжал я допрашивать Ванечку.

Но вместо ответа он хмуро посмотрел на меня и спросил:

– Ты в бога веришь?

Я опешил, даже обиделся:

– Что за вопрос?! Какой социалист может верить в бога?!

– А в чёрта и его пекло? – продолжал Фиолетов, как бы не замечая моего недоумения.

– Черти, говорят, в аду водятся, а где этот ад, даже попы не знают.

– В двенадцати верстах от города – в Балаханах! – сухо отрезал Ванечка и забарабанил по стеклу.

Поезд остановился на станции Сабунчи.

Мы вышли из вокзала. Я был изумлён невиданным зрелищем. Чёрный лес нефтяных вышек, разбросанных на огромной территории, тянулся до самого горизонта, утопая в густых облаках дыма, копоти и зловонного пара. Яркое южное солнце здесь казалось багровым, словно пятно запёкшейся крови. Небо было закрыто тёмной тучей, нависшей над самой землёй.

– Вот он – ад! – сказал Ванечка, широким жестом показывая на необозримое царство «чёрного золота». – Здесь рождаются, живут и работают рабы нефтяных магнатов, здесь они и умирают. Отсюда перекачиваются миллионы русских денег в карманы иностранцев – Нобелей, Ротшильдов, Шелла – будь они прокляты!

– А разве наших кровососов в Балаханах нет? – удивился я.

– Как не быть! Здесь хозяйничают Лианозов, Гукасов, Манташев, Шибаев, Мирзоевы и десятки других крупных и мелких хищников. Все они в одной компании! Ну, пошли.

Мы тронулись в путь, в самые дебри нефтяного леса.

Душил запах мазута. От нестерпимой жары я задыхался, как в серной бане, обливался потом. Всё вокруг нас: и земля, и вышки, и люди – было насквозь пропитано нефтью, дочерна закопчено, словно облитое жиром. Под ногами неприятно хлюпала чёрная земля. Перекрещиваясь между собою, во всех направлениях тянулись железные трубы, по которым, как кровь в жилах, непрерывно текла нефть. Вышки стояли по обеим сторонам шоссе, пересекавшего Балаханы на две части. Меж вышек то и дело встречались земляные амбары и озёра, до краёв наполненные мазутом.

От бурения сотен скважин в воздухе стояли оглушающий гул и грохот, слышались жужжание стальных канатов, гудение барабанов и форсунок, свист пара. Навстречу нам часто попадались измождённые, сгорбленные рабочие, еле передвигавшие ноги.

Мне было жутко и больно. Как могут жить люди в таком месте? Ни неба, ни солнца, ни единого зелёного дерева!

– Ну что, поверил теперь в чертей и пекло? – словно прочитав мои мысли, спросил Фиолетов. – Вот он где – настоящий ад для рабочих! В сорок лет они уже старики, инвалиды, которых хозяева, как негодную ветошь, выбрасывают на улицу. Здесь нет ни столовых, ни прачечных, ни общественных бань. Даже простой питьевой воды не хватает. Пьют из загрязнённых озёр и колодезев... Немудрено, что здесь свирепствуют дизентерия, тиф, а иногда и холера...

Рабочие мрут как мухи, и никто о них не позаботится. Армия безработных с избытком возмещает убыль».

К моменту своего появления в Баку в 1904 году Бархатова была уже сложившимся революционным бойцом и активным членом местного Ленинского комитета РСДРП. У неё была незаметная должность заведующей библиотекой Союза нефтепромышленников, но за этим «занавесом», скрывавшим от посторонних, и особенно от полиции, место сходов большевиков, кипела бурная партийная деятельность. Лидия Николаевна в судьбу недавно появившегося в Баку восемнадцатилетнего революционера Павла Бляхина вошла именно с фразой о необходимости посоветоваться о проведении стачки.

«– Давай послушаем, о чём так говорит Лидия Николаевна Максиму.

– Вы не можете себе представить, как лихорадят рабочих эти шендриковцы! (Три брата, меньшевики и провокаторы Шендриковы. – В. Е.) – жаловалась Лидия Николаевна. – Мы готовимся к стачке, стараемся объединить рабочих под руководством комитета, добиться солидарности всех национальностей, а они всюду вбивают клин, сеют недоверие к партии.

– Не волнуйтесь, Лидия Николаевна, это им не удастся, – спокойно говорил Максим. – Неудача прошлогодней «мирной» стачки кое-чему научила бакинских рабочих, показала на деле, кто их друг и кто враг. Теперь политикой их не запугаешь и не оттолкнёшь от большевиков».

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАРРИКАДЫ

Не только Бархатова подметила в Павле любовь к литературе. Многими годами ранее, ещё в родном селе его склонность к чтению увидела школьная учительница Вера Сергеевна Раневская.

Направленный дядей в церковно-приходскую школу, мальчик проявил способности к Закону Божию, русскому языку, арифметике, элементарной географии и церковно-славянскому письму. Фантазёр и прирождённый мечтатель, он пристрастился к чтению русских народных сказок, стихов Пушкина, романов Купера и Верна вперемешку с рыцарскими романами и житиями святых. Раневская это бессистемное чтение прервала. Ей приглянулся не по годам смелый мальчик, и она подчинила его дальнейшее образование своему влиянию, давала книги, помогала по-особому смотреть на представлявшийся незбылемым окружающий и страшно пугающий своими картинами бытия мир. Она и направила его увлечённость в нужное русло. До глубины души, впечатлительной и отзывчивой на чужие беды, потряс его роман Этель Войнич «Овод». Его герой стал для Павла идеалом революционера. В какой-то степени эта книга окончательно и определила его политический путь, начатый, как мне представляется, ещё в родном доме. Как отмечают исследователи, именно по рекомендации Раневской Бляхин в 1903 году стал членом РСДРП.

Оставшись в четырёхлетнем возрасте без матери, безвременно скончавшейся от поразившего Поволжье голода, он сначала батра-

чил на собственного дядю, а позже навсегда покинул родные пенаты и начал большое путешествие по стране. Окончил церковно-приходскую школу в селе Селитренном Енотаевского уезда Астраханской губернии. В 1903 году семнадцатилетним юношей переехал в Астрахань и устроился учеником типографского наборщика.

Рабочая специальность и навыки наборщика текстов пригодились ему впоследствии в его революционной деятельности и политической борьбе: сначала в Астрахани, где он, выполняя поручения подпольного кружка РСДРП, доставал для подпольной типографии шрифт, печатал и распространял листовки и прокламации. Те же обязанности летом 1905 года легли на его плечи и в Баку: он официально числился переплётчиком в мастерской.

В Бакинском комитете РСДРП он уже сам создаёт социал-демократические кружки на нефтяных промыслах, участвует во всеобщей стачке нефтяников. Здесь же он впервые был арестован и заключён в Карскую крепость. Получив в «подарок» от царизма амнистию в самый разгар первой русской революции, Павел в это горячее для пролетариата время не смог оставаться в стороне и устремился в самое пекло – на московские баррикады. Теперь он – агитатор, боевик-дружинник, участник декабрьского вооружённого восстания, партийный организатор Городского района.

Осенью 1907 года он вошёл в состав Московского комитета РСДРП, вскоре был снова арестован и сослан на три года в политическую ссылку в Вельск Вологодской губернии. Однако полный срок не отбыл и после побега на третьем году ссылки перешёл на нелегальное положение. За три с половиной года, до февральской революции 1917 года, проводил подпольную работу в комитетах РСДРП (б) в Москве, Тифлисе и снова в Баку, где и встретил февральскую революцию, а позже на короткое время стал членом президиума Бакинского совета рабочих депутатов. С мая 1917 года Бляхин находится уже в Костроме на выборной должности председателя Костромского городского и губернского исполкомов.

В пылу революционной борьбы на баррикадах Красной Пресни и в рабочих слободках Бляхин продолжал заниматься творческой деятельностью. *«В поисках заработка Бляхин пробовал выступать в качестве декламатора и даже ставил одноактные пьесы в клубах, – отмечает исследователь В. Вьюгин. – По возвращении в столицу некоторое время посещал студию МХТ. После очередного ареста и побега из ссылки в 1913 году оказался в Киеве. Начал собирать материалы и делать наброски к книгам «Лучше смеяться, чем плакать» и «Киевские силуэты». Первая по замыслу автора должна быть посвящена жизни в тюрьмах и ссылках. Опубликовал несколько очерков и рассказов в газете «Киевская мысль». Во время Первой мировой войны служил санитаром в госпитале, писал очерки пацифистской направленности, которые были напечатаны в 1917-м в костромской газете «Северный рабочий».*

Еще в 1920 году, будучи членом президиума губернского комитета КП(б)У в Одессе и отвечая за сбор хлеба и продовольствия в уездах, он задумывает написать книгу о подростках, борющихся с оружием в руках против Белой армии и Махно. Уже в следующем, 1921 году в Костроме к годовщине штурма Перекопа он пишет сценарий к мас-

совой постановке, которую осуществил будущий художественный руководитель Театра Советской Армии Андрей Дмитриевич Попов.

В ноябре 1920 года Бляхин возвращается в Кострому на должность ответственного секретаря Костромского губкома РКП(б). А с декабря 1922 года он командирован партией в столь хорошо знакомый ему Баку. По дороге туда, неожиданно оказавшейся долгой – длившейся вместо трёх дней почти месяц, он пишет свою сразу же ставшую известной приключенческую повесть «Красные дьяволята» (второе название – «Охота за синей лисицей»). Рельсы, вагон-теплушка, маузер, карандаш, обёрточная бумага... В нетворческой обстановке, под стук колёс поезда, словно опасаясь не высказаться, спешил создать героический образ «красных дьяволят» их литературный «отец» Павел Бляхин.

Читателям старшего поколения этот первый и сразу же получивший большое признание литературный опыт Бляхина в своём первоизданном варианте едва ли известен, так же, как и снятый вскоре по нему одноимённый немой художественный фильм. Но кто из них в конце шестидесятых годов не следил за приключениями смелых юных героев гражданской войны – цыгана Яшки, Даньки и Мишки – в сразу же ставшей отечественным бестселлером кинотрилогии Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»!

За три с половиной года после своего третьего приезда на берега главного города Каспия Бляхин занимал должности председателя Главполитпросвета Азербайджана, руководителя отдела народного образования, был членом центрального комитета компартии Азербайджана, участвовал в работе центральной контрольной комиссии компартии республики, стал членом художественного совета по делам кино при Главполитпросвете РСФСР.

Должности члена худсовета, на мой взгляд, Павел Андреевич удостоился прежде всего как автор повести о дьяволятах, по которой был снят одноимённый немой кинофильм. Отдельные исследователи склонны даже тут проводить «сталинскую линию», считая, что мотивацией для написания повести и киносценария по первой части повести у Бляхина был якобы политический заказ Сталина, и называя фильм первым советским вестерном, что не вполне справедливо.

Вот как в предисловии к одному из поздних изданий повести описывал Бляхин окружающую обстановку и цели написания «дьяволят»: *«Юные друзья мои, читатели! Повесть «Красные дьяволята» была написана мною в 1921 году в вагоне-теплушке по дороге из Костромы в Баку. Вместо трёх дней я ехал ровно месяц. На самодельном столике наготове лежал маузер (...) Гражданская война подошла к концу, но грабежи и налёты бандитских шаек на поезда и продбазы продолжались. Нам не раз приходилось по тревоге хвататься за оружие и выскакивать из вагона. Поезда часто останавливались: не хватало топлива для паровозов, и пассажиры сами помогали добывать дрова, уголь. Страна изнемогала от голода, разрухи и болезней. Но советский народ терпеливо переносил все невзгоды и героически сражался с интервентами. Вместе со старшим поколением билась за власть Советов и наша молодёжь, юноши и девушки, и даже дети-подростки. Сотнями и тысячами шли они добровольца-*

ми в ряды Красной Армии, показывая образцы невиданной храбрости и любви к Родине.

В 1920 году я не раз встречался с такими орлятами. Об их отваге и самоотверженности рассказывали поистине чудеса.

О боевых делах и приключениях тройки юных героев, прозванных «красными дьяволятами», я и написал свою первую повесть. Она была издана в Баку в 1922 году. Это была одна из первых книг о гражданской войне, кровавый след которой ещё не успел остыть. Наши юные читатели горячо приняли книгу.

В 1923 году вышел в свет кинофильм «Красные дьяволята», поставленный в Грузии по моей повести и сценарию режиссёром И. Перестиани. Советские зрители, особенно молодёжь и дети, встретили фильм с восторгом и немедленно отозвались сотнями писем на имя командарма Первой Конной армии С.М. Будённого с просьбами принять их добровольцами, как «красных дьяволят». Многие просили товарища Будённого сообщить им и точные адреса этой тройки. В некоторых клубах появились группы «красных дьяволят».

В своё время кое-кто упрекал меня в том, что боевые дела и приключения «красных дьяволят» порой кажутся невероятными и непосильными для таких юнцов (16–17 лет). Но вот двадцать лет спустя, в годы Великой Отечественной войны, я опять встретил «дьяволёнка» нового поколения – это Вася Бобков. Васе пятнадцать лет. Он в форме солдата. Через плечо автомат. На груди орден Красной Звезды. Вася Бобков – отличный стрелок и храбрый воин. Он не раз ходил в разведку. В бою заменял при случае пулемётчика. Мог быть и хорошим наводчиком орудия. На его счету было двадцать пять убитых гитлеровцев! Ну разве этот юный вояка не мог быть четвертым «дьяволёнком» в моей повести?! А сколько таких пареньков было на разных фронтах Великой Отечественной войны!

Правда, в повести есть элементы некоторой фантастики и преувеличений, но они выражают героические настроения нашей молодёжи, готовой положить жизнь свою за дело коммунизма, за счастье народа».

Весьма интересно, что не все созданные Бляхиным «красные дьяволята» стали героями кинолент. Вместо воевавшего рядом с Мишкой и Дуняшей в будёновском отряде «книжного» китайского мальчика Ю-Ю в киноварианте 1923 года появляется не менее колоритный персонаж – чернокожий акробат Джексон, а в кинотрилогии режиссёра Кеосаяна – не менее колоритный цыган Яшка.

Очень высоко ценил повесть известный советский поэт Самуил Яковлевич Маршак: «С нею, в сущности, впервые в детскую книгу входила революционная героическая тема... Повесть Бляхина являлась попыткой заменить бульварную переводную приключенческую литературу».

«Дьяволята» во многих аспектах стали литературным новаторством. «В центре сюжета повести, – отмечал исследователь В. Вьюгин, – два подростка, брат и сестра, самостоятельно начавшие «партизанскую» деятельность против бандитов и богатых крестьян и затем превратившиеся в бойцов Конной армии Будённого, где они находят ещё одного товарища. Подростки совершают ряд невероятных подвигов (вплоть до поимки батьки Махно), выходят побе-

дителями из смертельных ситуаций, своим самоотверженным служением делу революции добиваются высокого признания Республики и награждения орденом Боевого Красного Знамени. Книга была очень популярна и неоднократно переиздавалась (вторая волна переизданий относится к 1960-м). Повесть можно рассматривать как артефакт, представляющий один из начальных, предварявших открытую манифестацию нового эстетического метода этапов становления литературы социалистического реализма (1932). Ориентированная прежде всего на детскую и юношескую аудиторию, она обладает рядом качеств, позволяющих без особого усилия увидеть в ней соответствие ещё не провозглашённому канону. Автор, безусловно, является носителем марксистского понимания общественного развития, то есть принципа коммунистической партийности в искусстве. Он рассказывает о социалистическом движении народных масс и вводит в литературу нового героя – если не пролетария, то фигуру, по социальному статусу ему чрезвычайно близкую. Наконец, текст написан для массового читателя и открыто служит его воспитанию. Разумеется, в повести можно найти отступления от заданной схемы, но тем самым лишь определяется особое место этого произведения в истории социалистического реалистического искусства».

Спустя 14 лет в газете «Тифлисский рабочий» от 20 января 1935 года Павел Бляхин признаётся, что его первая в молодой советской литературе приключенческая повесть для юношества «явилась полусказочным отражением мрачных событий, связанных с именем безымянного главаря кулацких банд батьки Махно, с которыми нам приходилось иметь дело в 1920 году в районе Екатеринославщины, где я был председателем губревкома».

Своей главной эстетической установкой Бляхин считал «описание только того, что было, или только того, что могло быть». Это писатель отметил в предисловии к харьковскому 1925 года изданию «Красные дьяволята: (Охота за голубой лисицей)», оправдывая близкое мифу или легенде повествование об исторических событиях. «Сюжет, – считает В. Вьюгин, – мотивируется ровно настолько, чтобы у неискущённого читателя возникло чувство правдоподобия разворачивающейся перед ним коллизии. Логика повествования полностью подчинена изначальной установке: дать пример революционного героизма и изобразить новый тип прогрессивной личности взамен устаревшей (например, того же «Овода» Э. Войнич). Отсюда открытая карикатурность отрицательных персонажей и преувеличенная цельность положительных. Это следование не «фактографической», а так называемой «художественной» правде обеспечило Бляхину место одного из основоположников романтической линии в литературе социалистического реализма».

Два года спустя после выхода кинофильма Бляхин написал продолжение «дьяволят». Драматические и захватывающие события этой киноповести разворачиваются на фоне операции Красной Армии по взятию Перекопа в Крыму. Завершив битву с белогвардейцами и иностранными интервентами, герои Бляхина обращаются к мирному строительству. Этому этапу их жизни должна была быть посвящена третья часть повести – «На трудовом фронте». Но, увлечшись пропагандистской силой кинематографа, Бляхин принял

ся писать киносценарии. В вышедшем в 1925 году сценарии «Большевик Мамед» отчётливо реализована базовая схема будущей автобиографической трилогии, к работе над которой писатель вплотную приступит в 1950-е. Как отмечают исследователи, «действие разворачивается в Баку, в «эпоху власти буржуазно-помещичьей мусульманской партии «Мусават» и оккупантов-англичан» в 1919–1920 гг. Мамед, *«молодой, весёлый, чрезвычайно живой рабочий-тюрк, смелый до дерзости, хороший гимнаст... проходит путь от инстинктивного ощущения того, кто является его классовым врагом, к осознанному участию в революционной борьбе»*. Затем последовали сценарии «Во имя бога» (1925), «26 бакинских комиссаров» (1926), «Иуда» (1927) и целый ряд других.

В июле 1941 года 54-летний Бляхин добровольцем ушёл на фронт и стал красноармейцем 22-го полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения на Западном фронте. В этой дивизии вместе с рабочими Трёхгорной мануфактуры, сахарного завода, недавними выпускниками средних школ сражалась почти вся столичная интеллигенция, а рота Бляхина считалась «писательской»: в ней воевали многие другие известные литераторы: Р. Фраерман, Э. Казакевич, А. Бек, С. Злобин и другие. С октября 1941-го по апрель 1943 года он служил специальным корреспондентом армейской газеты 49-й армии; с апреля 1943-го по январь 1945 года – спецкором армейской газеты 61-й армии Западного, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. На основе накопленного на фронтах обильного фактического материала Бляхин написал 60 очерков и рассказов. Спустя 21 год после окончания Великой Отечественной его фронтовой дневник, безусловно, доработанный, превратился в книгу «Годы великих испытаний». Незадолго до Дня Победы он стал членом Союза писателей СССР.

После войны писатель приступил к работе над автобиографической трилогией «Дни мятежные». В неё вошли три посвящённые революционерам и революции романа: «На рассвете» (1950), «Москва в огне. Повесть о былом» (1956), «Дни мятежные» (1959). Каждая из этих книг отражает определённые этапы революционной жизни самого писателя.

Деятельность революционера, участника гражданской и Великой Отечественной войн и писателя Павла Бляхина по достоинству отмечена двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны первой степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800-летия Москвы».

В память о писателе, скончавшемся в Москве 19 июня 1961 года и похороненном на Новодевичьем кладбище, благодарные астраханцы в 2006 году учредили ежегодную литературную премию имени Бляхина для литераторов области.



Наталья Шиндина. «Дорога на хутор», х. м., 2003 год

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Художник – Наталья Шиндина.

Подписано в печать 29 августа 2017 года.

Дата выхода в свет 31 августа 2017 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 18/29087

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2017.

© «Волга–XXI век», 2017.

РАБОТЫ ХУДОЖНИЦЫ НАТАЛЬИ ШИНДИНОЙ



«Волга»



«Село Натальино. Осень и телёнок»



Наталья Шиндина. «Пенза. Долгий куст»

